

СОЦРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ КАНОН



Гуманитарное Агентство
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»

Санкт-Петербург
2000

МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И ПРОШЛЫМ: ПИСАТЕЛЬ СТАЛИН И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОКИ СОВЕТСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Евгений Добренко

Революция — это букварь для народа.
Андрей Платонов. Чевенгур.

Краткость — сестра таланта

Прочитанная книга коммунизма лежит сегодня открытой. Теперь, когда в ней не надо жить, ее стало можно читать.

Коммунизм был действительно книгой. Для литературоцентричной русской (и советской) культуры «открытая книга» — не образ. Традиция соответствовала самой природе советского политико-эстетического проекта, одно из отличий которого от другого сверх-проекта XX века — нацистского — состояло, по точному наблюдению Валерия Подороги, в том, что Гитлер был «человеком речи», а Сталин — «человеком письма»¹.

Здесь возникает, однако, вопрос: если сталинский текст столь культурно значим, то как могла на протяжении четверти века функционировать эта культурная модель *при остром дефиците самих сталинских текстов*? Как известно, Сталин очень мало написал, и когда к концу жизни готовил собственное собрание сочинений, то едва ли набралось 12 томов, где в разрядку, огромными буквами (как будто детским шрифтом) было напечатано то немногое, что было создано им за более чем пять десятилетий активной политической деятельности. Надо заметить, что практически все собрание сталинских сочинений состояло из «работ» до-сталинской эпохи: в 1930-е годы и без того еле заметный ручеек почти полностью иссыхает, а послевоенное десятилетие едва укладывается в один том (тот самый, который и не был издан в СССР после смерти Сталина).

Можно, конечно, предположить, что редкость появления сталинских текстов чем дальше, тем больше служила их большей сакральности. Дело не в том, однако, *что* было Сталиным *написано*, но — *что* было им *отобрано* для публикации. Политики, пришедшие к власти, пишут мало. Зато существуют огромные аппараты референтов, пишущих за них (такие аппараты существовали при Троцком, Зиновьеве, Бухарине и др.). Следовательно, появление таких текстов — не результат произведенной вождем работы, но результат стратегии его поведения, жеста: дело не в самом тексте, но в факте его публикации.

Вожди писали книги. Сталинское же собрание сочинений состоит из речей, выступлений, писем, замечаний, словом, из периферийных («коротких»!) жанров. Три книги вождя никогда при этом не признавались *его* книгами и, по иронии, назывались «краткими». Речь идет о следующих книгах: «Ленин Владимир Ильич. Краткий очерк жизни и деятельности», «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», «История ВКП(б). Краткий курс». Замечательно, что авторство этих

текстов прозрачно скрыто: из речи Хрущева на XX съезде известно, к примеру, что Сталин сам редактировал собственную биографию, вписывая в нее целые страницы; многое известно и о ходе работы над «Кратким курсом истории ВКП(б)».

И все же: кем эти книги, собственно, написаны? В «Кратком курсе» сообщается: «Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б)»; под ленинской биографией не значится ничего вообще, а стоит лишь гриф «Института Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б)»; наконец, под биографией Сталина стоят фамилии шестерых «составителей». Между тем, очевидно: для того, чтобы нечто можно было «редактировать» или «составлять», это нечто должно как минимум *существовать*. А вот проблема прототекста не может быть спорной. Несомненно, он-то и принадлежал Сталину.

Здесь нет никаких «исторических догадок»: всякому известно, что сталинский стиль резко специфичен. Он неизменно строится на определенных конструкциях, оборотах, фигурах, умозаключениях, «логике», которые присущи были только сталинским текстам. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать любую сталинскую работу. Рассматриваемые здесь тексты обладают несомненной внутренней интертекстуальностью. Они написаны одним — сталинским — языком, в одном — сталинском — стилевом ключе и различаются лишь жанрово. Если утверждать, что автором названных трех «кратких» текстов был кто-то другой, а не Сталин, остается предположить невероятное: кто-то сознательно стилизовал Сталина и сам вождь затем правил эти стилизации. Предположение это фантастично еще и потому, что Сталин писал и надиктовывал свои тексты сам, очень тщательно отбирая слова и речевые обороты. Причина здесь была вполне прозаическая. Объяснил ее Троцкий: «Одиннадцати лет Иосиф поступил в духовное училище. Здесь впервые познакомился с русским языком, который навсегда остался для него школьным, усвоенным из-под палки, чужим языком»². И далее: «В тюрьмах и ссылке Сталин провел в общем около восьми лет, но поразительное дело: ему так и не удалось за этот срок овладеть ни одним иностранным языком. В бакинской тюрьме он пробовал, правда, изучить немецкий язык, но бросил это безнадежное дело и перешел на эсперанто, утешая себя тем, что это язык будущего. В области познания, особенно лингвистики, малоподвижный ум Сталина искал всегда линии наименьшего сопротивления»³.

Уклонимся от оценок Троцкого: ум Сталина при всей его «малоподвижности» был достаточно гибок и — главное — не менее эстетически чуток к той исторической роли, которую суждено было сыграть Сталину в постреволюционную эпоху, удалив «подвижные» политические умы революционных риториков, таких как Троцкий, вместе с их головами. Это эстетическое чутье и подсказало Сталину странное, на первый взгляд, решение: уклониться от авторства трех созданных им книг — метатекстов советской культуры. Но не проблема авторства, а проблема номинации составляет самое событие «книги вождя»: в конце концов, не важно, кто писал мемуары Брежнева — важно, что они вышли под его именем; не важно писал или «вписывал» Сталин — важно, что все три книги несут на себе неизгладимую и мгновенно узнаваемую печать сталинского стиля, сталинской логики. Словом, «сталинского гения», как сказали бы в те времена.

Сталин писал не теоретические книги, не политические манифесты, не политико-экономические исследования, не мемуары. Он писал историю. Это писание истории было для него частью, причем, очень важной частью самого *делания* Истории. «Трехкнижие» — главный интеллектуальный и литературный памятник сталинской эпохи, «клинически чистый случай тоталитарного сознания»⁴. Настоящая сверхзадача книг Сталина — создание советской мифологии — могла быть реализована именно в исторических повествованиях — не собственно литературных, не научных, не теоретических. Только история позволяет соединить некое «знание» с литературой, придав литературе вид «объективного изложения прошлого». Мифо-

генный потенциал, заложенный в самой природе исторического дискурса, неисчерпаем.

В эпоху критики идеологии нарратив был осознан в качестве настоящего домена мифологии, что позволило Ролану Барту утверждать: «Функция нарратива не “представлять”, но устанавливает оптику... Нарратив не показывает, не имитирует... С точки зрения референциальной (реальности) то, что “имеет место” в нарративе, есть буквально *ничто*; “то, что происходит” — только язык, приключения языка...»⁵

Приключения — это сюжет. Его-то и дает нарративу история, которая в то же время сама является продуктом нарративизации социального опыта. История и начинается с нарративных процедур. Но всякое историческое повествование (а сталинские «истории» в огромной степени) апеллирует к определенной норме. Норма эта конституирована в социальных институтах права и власти. «Нарративность, неважно литературного или фактического типа, предполагает существование систем права, против которых или от имени которых выступают “агенты нарратива”. Это дает основание подозревать, что нарратив в целом, от фольклора до романа, от летописи до полноценной “истории”, имеет дело с правом, легальностью, легитимностью, или, в более широком плане, с властью... Интерес к социальной системе, которая есть не что иное, как система человеческих отношений, управляемая законом, создает возможность развития напряжений, конфликтов, борьбы и разного рода их разрешений, в которых мы приучены видеть репрезентацию реальности, предстающей перед нами в виде истории»⁶.

При этом Хайден Уайт различает три вида исторического повествования: коммуникативный, экспрессивный и конативный. Именно во втором типе «дискурс является аппаратом продукции значения в большей степени, чем механизмом для передачи информации о внешнем референте (реальности)»⁷. Нет нужды говорить, что интересующие нас здесь «краткие тексты» были образцовыми «аппаратами продукции значения».

Здесь мы и вступаем в область собственно литературы. «В историческом дискурсе, — пишет Уайт, — нарратив служит трансформации в повествование списка исторических событий, который в противном случае был бы простой хроникой. Чтобы произвести эту трансформацию, события, действующие лица и сами действия, представленные в хронике, должны быть декодированы в элементы повествования и, значит, представлены как определенные события, действующие лица, действия и т. п., осознаваемые в качестве элементов повествований определенных типов. На этом уровне декодирования исторический дискурс уводит читательское внимание ко вторичному референту, отличному от событий, представленных первичным референтом, а именно, к сюжетным структурам различных типов повествования, представленным в данной культуре»⁸.

«Вторичный референт» сталинской культуры представлен соцреализмом. По его моделям и строится сталинское трехкнижие. Иными словами, биографии Ленина, Сталина и «Краткий курс» должны быть поняты не просто как произведения соцреализма, но как его метатексты. *Сталин и был главным советским писателем*. Так что, стоит заметить, обращение его «малоподвижного ума» к «области лингвистики» и «вопросам языкознания» в конце жизни несколько не было случайным.

Сталин проявил свой писательский талант в трех основных жанрах исторического повествования. Мы и обратимся к ним по мере жанрового (не хронологического) восхождения: биография — наиболее простой, поскольку позиция Другого по отношению к Другому наиболее естественна; автобиография — более сложный тип исторического повествования, поскольку позиция Другого (биографа) по отношению к себе самому всегда требует эстетического дистанцирования; наконец, история как таковая, требующая позиции Другого по отношению уже не к отдельной личности, но к миру в целом, и обладания неким целостным же, абсолютным знанием об этом мире, является высшей ступенью исторической жанрологии.

«Творец ленинизма» (Сталин-биограф)

Единая, по сути, художественная задача сталинского «трехкнижия» — создание образа вождя — раскрывается в трех «исторических книгах» по-разному. В биографии Ленина она реализуется на материале жизни Другого. «Жизнь и деятельность» Ленина (вынесенные в подзаголовки) здесь действительно не более, чем «материал»; они поставляют фабулу для повествования. Речь идет именно о фабуле, поскольку сюжет есть преодоление хроники. Фабула же (хроника) жизни Ленина — в той лишь, конечно, мере, в какой она представлена в биографии, — верна: даты рождения, смерти, съездов, переездов и т. п. «событий». Но не из хроники состоит, разумеется, книга, равная по объему «Краткому курсу». И не эти «события» составляют ее содержание. Она читается как художественная биография. И если это чтение не доставляет эстетического удовольствия, то в той лишь мере, в какой не доставляет такого удовольствия чтение советского историко-революционного романа.

Жанровые истоки текстов, подобных биографиям вождей и «Краткому курсу», ищут традиционно в агиографии. Однако здесь обнаруживаются только сюжетные — не стилевые — доминанты. Обратимся к одной из первых сцен в ленинской биографии. Ленину здесь 17 лет. Его арестовывают за участие в студенческих волнениях:

« — Что вы бунтуете, молодой человек? Ведь перед вами стена, — сказал Ленину пристав, сопровождавший его в тюрьму.

— Стена, да гнилая, тхни, — и развалится, — ответил Ленин.

В тюрьме студенты, собравшись как-то вместе, стали спрашивать друг друга, что они будут делать, когда их освободят. Когда очередь дошла до Ленина и его спросили: «Ну, а ты, Ульянов, что думаешь делать потом?» — он ответил, что перед ним дорога одна — дорога революционной борьбы»⁹.

Известно, что в описании действий вождя отсутствуют психологические мотивировки. Но мотивации сюжетные необходимы. Зададимся вопросом: кто поведал миру эту историю: Ленин или безымянный пристав (ведь третьего при разговоре не было)? Или: когда студенты собрались «как-то вместе», если из текста следует, что Ленин был арестован на квартире в ночь с 4 на 5 декабря, на следующий день исключен из университета, а уже через день выслан в деревню Кокушкино? Кто рассказал биографу об этой беседе: Ленин, студенты? Показательны и сами «речи»: легко себе представить, как семнадцатилетний юноша заявляет своим товарищам о «дороге революционной борьбы».

Поставленные вопросы, кажется, возникают и перед повествователем. Поэтому тут же включается механизм их нейтрализации. Сцена завершается пассажем: «Так семнадцатилетний Ленин получил свое революционное крещение в первом столкновении с царским самодержавием. С тех пор Ленин отдал без остатка всю свою жизнь делу борьбы против самодержавия и капитализма, делу освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации» (7—8). После «дороги революционной борьбы» столкновение с самодержавием не выглядит излишне патетично. С первых же страниц читатель приготавливается к тому, что чуть ли не с раннего детства Володя Ульянов имел дело не с людьми, но с историческими закономерностями, институциями и государством (не больше не меньше, как с самим правительством). Достаточно обратить внимание на окончания главок:

«Царское правительство решило не допускать его в университет» (13). Правительство! Представляется почему-то картина заседания правительства, решающего «не допускать». А вот Ленину 25 лет: «Царское правительство неотступно следило за революционной деятельностью Ленина. В его лице оно видело очень

опасного врага» (34). Проходит еще пять лет — Ленину 30: «Царизм чувствовал в Ленине своего опаснейшего врага» (51). Из «очень опасного» Ленин превратился в «опаснейшего» и уже не «правительство», но — «царизм» (т. е. сам государственный строй) «чувствовал» в нем главную угрозу. Нет нужды говорить, что в 1907 году «царские шпионы искали Ленина; царизм хотел расправиться с вождем революции» (105). Здесь, конечно, очевидная абберация: «вождем» первой русской революции Ленин, конечно, никак стать не мог. Но что говорить о революции 1905—1907 годов, если еще в 1902 году, когда ему было 32 года, «имя Ленина стало знаменем борьбы за освобождение всего трудящегося человечества» (64).

В ком же видел царизм «опаснейшего врага»? В 23 года Ленин приезжает в Петербург, и тут же провинциальный юноша не просто становится «руководителем петербургских социал-демократов» (20), но осознает свою «историческую задачу» — «слияние социализма с рабочим движением»: «Немедленно по приезде в Петербург Ленин взялся за разрешение этой исторической задачи. Ему было тогда всего 23 года, но это был уже вполне сложившийся, превосходно образованный, беззаветно преданный рабочему классу революционер-марксист». Почему в 23 года он уже «вполне сложившийся» человек? Потому что это заранее освобождает от дальнейших упоминаний о каких-либо неверных шагах или заблуждениях вождя. Что сделало его «беззаветно преданным рабочему классу», которого он, живя вначале в ссылке, а затем сдавая экзамены в Петербургский университет, не знал и знать не мог? Как ему удалось в столь незрелом возрасте не только сформулировать для себя, но и «немедленно взяться за разрешение исторической задачи»?

Вопросы эти неуместны не потому, что речь идет о вожде, обладающем сверхчеловеческими возможностями, но потому, что сама их постановка к соцреалистическому тексту в принципе некорректна. Исторические повествования — биографии, автобиографии, истории — по необходимости — реалистичны, чем и отличаются от собственно литературных нарративов, в которых апелляция к реальности не столь обязательна (или необязательна вовсе). Естественно поэтому читательское стремление к сопоставлению. Между тем, такое сопоставление лежит всецело в плане хроники (фабулы повествования — совпадения дат и т. п.) и не учитывает характера нарратива.

Строго говоря, биография вождя не имеет сюжета, поскольку в ней отсутствует какое бы то ни было развитие персонажа. Даже герой проходит в советском «романе воспитания» известный путь становления, переживает какие-то сомнения, влияния и т. п. (Павел Корчагин, Мересьев или молодогвардейцы). С вождем ничего подобного не происходит. Он обречен проживать какую-то готовую жизнь. Жизнь эта как будто уже состоялась еще до того, как вождь вошел в нее. Вот почему повествование лишается всякой увлекательности. Остается (не считая фабулы) чистый стиль, оптика. Эта оптика и продуцирует жизнь, прожитую *заранее*. Что ни делает вождь, все уже — «шаги истории самой». Нет, пожалуй, ни единого упоминания ленинских работ без сопровождающих эпитетов, превращающих эти работы как бы в заранее обреченные на жизнь в Истории («Собрание приняло его *исторические* “Тезисы о войне”... Ленин дал *гениальный* ответ на все основные вопросы, поставленные эпохой... В этом *историческом* документе Ленин бросил клич...» (144—145); в 27 лет Ленин «пишет свою *историческую* брошюру “Задачи русских социал-демократов”» (42) и т. д.). Ленин не писал свои статьи и книги, а как будто выполнял то, что было ему предписано Исторической закономерностью. Это «чтение назад» порождает эффект мертвого прошлого. Можно сказать, что в этих повествованиях прошлого вообще нет — есть только история.

За что ни берется Ленин — ему не приходится ничего искать — все оказывается уже «историческим», «известным», «гениальным», «классическим». Словом, готовым. Ясно поэтому, что любые действия вождя обречены на значительность и пол-

ны символики. Вот приезжает Ленин за границу. Нам не сообщается, конечно, на что он жил, делал ли что-нибудь кроме того, что занимался партийными делами, испытывал ли какие-то трудности. Но вот цитируется его письмо матери: «Берлинские Sehenswürdigkeiten посещаю очень лениво: я вообще к ним довольно равнодушен и большей частью попадаю случайно. Да мне вообще шлянье по разным народным вечерам и увеселеньям нравится больше, чем посещение музеев, театров, пассажей и т. п.» Тут же вывод: оказывается, попав впервые после Симбирска, Казани, Самары и деревни Кокушкино в Европу и проведя по месяцу в Швейцарии, Париже и Берлине, Ленин «внимательно изучал рабочее движение, посещал рабочие собрания, знакомился с жизнью и бытом западно-европейского рабочего» (30) (так было объяснено это «шлянье» по «увеселеньям»).

Приезжает Ленин в Лондон. Здесь он, конечно, не живет, но — работает: «Ленин внимательно изучал Лондон — эту цитадель современного капитализма. Он знакомился с английским рабочим движением, изучал жизнь рабочего, его быт, психологию, посещал рабочие районы, собрания, митинги. Он целые дни проводил в Британском музее, где работал в свое время Маркс, создавая свой гениальный труд “Капитал”» (66). Как будто для того Ленин и прибыл в Лондон, чтобы проводить целые дни там же, где создавал свой «Капитал» («гениальный», разумеется) Маркс. Что же удалось Ленину за два месяца в Лондоне (март-апрель 1902 года)? «Со свойственной ему тщательностью и добросовестностью он внимательно изучил все сколько-нибудь значительное в мировой литературе по аграрному вопросу» (66). Чуть позже узнаем, что «с первых дней войны Ленин принялся за детальное, глубокое изучение мировой литературы об экономике, технике, истории, географии, политике, дипломатии, рабочем движении, колониальном вопросе и других областях общественной жизни различных стран эпохи империализма... Таких неутомимых исследователей, кристально чистых в науке людей, каким был Ленин, мир мало рождал. В результате этой огромной исследовательской работы была создана знаменитая книга Ленина “Империализм как высшая стадия капитализма”... Книга эта — величайшее произведение марксизма-ленинизма» (156).

За этой гипертрофией не следует видеть только обычное «славословие»: она выдает в повествователе человека, никогда всерьез не работавшего и ничего толком не «изучавшего», поскольку очевидно, что за два месяца невозможно «тщательно», «добросовестно» и «внимательно изучить все сколько-нибудь значительное в мировой литературе по аграрному вопросу» или «детально и глубоко изучить мировую литературу об экономике, технике, истории, географии, политике, дипломатии, рабочем движении, колониальном вопросе и других областях общественной жизни различных стран эпохи империализма». Не важно, кто был таким «повествователем» — им мог быть любой член сталинского Политбюро, — но биографически перед нами, конечно, сталинский нарратив. Он имеет и стилистическое (оптическое) измерение.

Прежде всего обратим внимание на обилие перечислительных конструкций: каждое действие, каждая характеристика мультиплицируется, как будто настольной книгой автора являлся словарь синонимов. Второй отличительный признак сталинского повествования — параноидальная правильность речи, ее риторическая нагруженность, обилие сложных, перегруженных синтаксических конструкций (своеобразная пародия на гоголевский стиль — стоит заметить, что для малоросса Гоголя русский язык также был языком обретенным).

Решив не выходить в нашем рассмотрении за пределы трех книг, утверждая их самодостаточность, мы будем обращаться только к тем сталинским цитатам, которые атрибутированы в этих книгах как аутентичные тексты вождя. Одна из них (из речи Сталина на предвыборном собрании избирателей 11 декабря 1937 года) завершает биографию Ленина. Здесь Сталин «нарисовал высокий образ деятеля ленинского типа» (297). «Нарисовал» — очень точная характеристика. Итак, народ,

говорил Сталин, должен требовать от своих депутатов, «чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинского типа, чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями, как Ленин, чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, каким был Ленин, чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться и на горизонте вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были так же свободны от всякого подобия паники, как был свободен Ленин, чтобы они были так же мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и минусов, каким был Ленин, чтобы они были так же правдивы и честны, каким был Ленин, чтобы они так же любили свой народ, как любил его Ленин» (297).

Перед нами — образцовый сталинский нарратив. Обратим внимание на цифру: *семь* повторяющихся конструкций (типа «чтобы... такими, каким был»). А вот — Сталин-биограф: «Ленин не боялся рискнуть, ибо он знал, видел своим ясновидящим взором, что восстание неизбежно, что восстание победит, что восстание в России подготовит конец империалистической войны, что восстание в России всколыхнет измученные массы Запада, что восстание в России превратит войну империалистическую в войну гражданскую, что восстание даст Республику Советов, что Республика Советов послужит оплотом революционного движения во всем мире» (191). Те же *семь* повторов одинаковой конструкции. Семь — цифра не случайная, но — оптимальная: в принципе, эффект повтора достигается троекратностью. Повтор, скажем, пятикратный, уже воспринимается как сознательная риторическая фигура. Семикратный повтор — своего рода обнажение приема. После семи — начинается тавтологическая бесконечность (см. тексты Дмитрия Александровича Пригова).

Тогда, когда повествуется о перипетиях ленинской жизни в эмиграции, о невозможности общаться с массами, биографическое повествование достигает вершин эмоциональности (в рамках возможной стиливой красоты для данного нарратива, разумеется): «Нелегко было Ленину жить в эмиграции, оторванным от непосредственного общения с рабочим классом, с народными массами» (63). Говорится об этом так, как если бы Ленину было «нелегко» жить оторванным от семьи или от жены. «Народные массы» заменяют здесь семью. В сознании читателя эта драма так — компенсаторно — и воспринималась. В этом семейном интэрьере Ленин предстает перед нами то как всезнающий отец («Ленин вынужден был жить в эмиграции, но никто так хорошо не знал положения в России, в рабочем классе, в партии, как он» (63)); то как заботливый хозяин большой рабочей революционной семьи («Он часто ночей не спал, получив известия об аресте того или другого работника, о провале комитета или транспорта литературы, об утере с таким трудом налаженной связи с какой-нибудь организацией» (62)); то как любимый сын («Но партия, перейдя сама в подполье, укрыла и своего вождя в глубоком подполье» (180)). Иногда, впрочем, художественная мера изменяет повествователю и драма приобретает черты фарса: «Ленин рвался в Россию, чтобы непосредственно участвовать в революционных событиях. Как лев в тесной клетке, метался Ленин» (169).

В финале биографии, там, где Ленин-политик и Ленин-человек сливаются в образе Ленина-вождя, происходит соединение «монументальности» и «теплоты». Ни одна грань «ленинского облика» не теряется в его заключительном портрете, но все они преобразуются в знакомом сталинском «реализме»: «Ленин обладал, как никто, чувством нового. Он, как опытный садовник, внимательно следил за появлением нового и любовно выращивал его» (246); «Ленин всегда был на страже, он вовремя разгадывал планы врагов, мастерски определял основное направление удара противника, быстро перестраивал силы, сплачивал народные массы в несокрушимую силу и добивался победы» (254); «Не терпя шумихи, требуя во

всем простоты и скромности, Ленин сам являлся образцом такой исключительной скромности. Рабочие так определяли простоту Ленина: «Прост, как правда» (268); «Ленина нельзя было обмануть. Во всем он требовал прямоты и правды» (269); «Ленин был лучшим другом молодежи, отцом и воспитателем молодых рабочих и крестьян, помогал советами и указаниями молодежным организациям» (245)...

В политическом портрете Ленина перед нами — несомненный автопортрет Сталина.

Две драмы разворачиваются перед читателем ленинской биографии. Первая — драма *размежевания* (борьбы с врагами). Вторая — драма *слияния* (со своим преемником — Сталиным). Можно сказать, что весь сюжет ленинской биографии развивается между этими полюсами его идентичности. Эта шизофрения преодолевается чисто художественно. Перед нами — именно художественная биография, персонаж которой (некто исторический Ульянов-Ленин) играет «готовую» жизнь («историческую роль»). Биографии задается вектор. Движение в заданном направлении приводит к снятию противоречия (имплицитного кризиса идентичности). Здесь же перед нами и жанровый парадокс, объясняющий характер преобразования персонажа: *чем более актуализируется биография Ленина (Ленин важен как предтеча Сталина, поэтому ему надлежит размежеваться с будущими противниками Сталина, уничтоженными ко времени выхода биографии Ленина как «враги народа», и, напротив, постоянно сливаться со Сталиным), тем более заданной (готовой) оказывается эта биография, превращаясь в историю, проигрываемую назад, историю без прошлого. Иными словами, чем более актуальной становится биография Ленина (история), тем более ненужной становится сама его жизнь (прошлое).* Этот оптический фокус составляет самую суть сталинского исторического видения.

В ленинской биографии (как и в других «кратких» сталинских повествованиях) нет поэтому нейтральных лиц — простых участников событий. Присутствующий здесь набор имен имеет строгую аксиологическую выстроенность. Все персонажи делятся на позитивных и негативных. При этом позитивные представлены прежде всего двумя вождями, тогда как негативные — целым сонмищем разного рода inferнальных злодеев. Вся их «раскольническая деятельность» требовала от них огромных усилий. Это можно заключить хотя бы из того, что ленинские усилия по борьбе с «раскольниками», «ликвидаторами» и просто «предателями» были поистине титаническими. Борьба эта составляет настоящий сюжет ленинской биографии, придавая повествованию иногда своеобразную «увлекательность». Так, II съезд партии описывается как захватывающий репортаж с футбольного матча. Кто-то у кого-то все время перехватывает инициативу, противники перемещаются по полю, переходя от одних ворот к другим. Ленин подобен Антею (любимое сталинское сравнение): «Оппортунисты торжествовали, им мерещилась уже полная победа на съезде. Опасность удесятерила силы Ленина» (71)... Зададимся теперь вопросом: *зачем* ведут всю эту деятельность «враги ленинизма»? Биография Ленина не только не дает сколько-нибудь внятного ответа на этот, вроде бы, совершенно естественный вопрос, но и вообще не замечает его.

Казалось бы, именно ответами на подобные вопросы и силен марксизм, подсказывающий, что кроется здесь «классовый интерес» или «классовая борьба» (вне зависимости от нашего отношения к обоснованности подобных ответов). Но — странное дело — повествователь либо намеренно уклоняется от очевидных вопросов (и, по сути, от готовых ответов), либо дает ответы заведомо упрощенные (типа: «Объективная роль махистов — прислужничество реакции и поповщине» (114)). Это заставляет усомниться в том, что перед нами «марксистское повествование» (Гловинский). Перед нами именно соцреалистический текст, знакомая магия соцреалистического письма.

Следует, впрочем, иметь в виду, что исторические события являются здесь не столько самостоятельными и самоценными элементами повествования, сколько

доказательствами, подтверждающими правоту оценок автора задним числом. По сути, перед нами тот же механизм, что действует во всей ленинской биографии: история рассказывается проспективно, тогда как читателю заранее известен ее «готовый» результат. Поэтому злодеи совершают свои злодеяния так же неотвратимо, как и Ленин пишет свои «знаменитые», «классические», «известные» статьи и книги. «Известные», кажется, еще до того, как они были написаны.

Например, после подписания Брестского мира «троцкисты и бухаринцы открыто вели разнузданную кампанию против Ленина, партии, советского правительства. И в то же время в глубоком подполье они совместно с “левыми” эсэрами готовили контрреволюционный заговор против Советского правительства. Эти негодяи ставили своей целью — сорвать брестский мир, свергнуть советское правительство, арестовать и убить Ленина, Сталина и Свердлова. Только через 20 лет стали известны гнусные планы этого человеческого отребья» (209). На самом деле, «планы» этого «отребья» *наперед* известны читателю, и это знакомство читателя с «гнусными» персонажами партийной истории *предусмотрено*, поскольку приведенный текст не может читаться кем-то, кто не знает *заранее*, кто такие были «в действительности» (через 20 лет) троцкисты или бухаринцы. Это эффект соцреалистического романа, где читатель *заранее* знает, кто из персонажей — герой, а кто — негодяй.

Заметим, что характеристики такого рода распространяются на явления, а сами персонажи, от имени которых произведены названия «уклонов», совершенно лишены всякой индивидуальности. Поэтому в советской энциклопедии сталинского времени можно найти понятие «троцкизм», но нельзя найти имени самого Троцкого. И только «краткие книги» эмоционально повествуют о жутких фактах. Например: «Причиной отступления Красной Армии была предательская работа Троцкого, развалившего южный фронт» (238); или: «Подлый предатель Каменев внес предложение сжечь письма Ленина. Центральный Комитет с негодованием отверг это предложение и принял предложение товарища Сталина» (187). Стоит обратить также внимание на то, что фальсифицируются самые неправдоподобные события. Скажем, если всем известно, что именно Троцкий был главным героем гражданской войны, то именно о нем (а не о Рыкове, например), сообщается, что он был предателем. Если известно, что именно Каменев был доверенным хранителем ленинского архива, то именно ему (а не, скажем, Бухарину) приписывается попытка уничтожения этого архива. Можно, конечно, объяснить дело известным пропагандистским принципом: чтобы эффективно воздействовать на массы, ложь должна быть как можно более грубой. Но дело здесь, как представляется, в ином.

В огромном сталинском театре обвинения против соперников Сталина (вышей партноменклатуры — персонажей открытых процессов 1936—1938 годов) выдумывались не безымянными костоломами-следователями Лубянки, а, как известно, в сталинском кабинете. Никто и не мог бы придумать за Сталина все эти неправдоподобные истории о его ближайших сотрудниках. Это выдает в Сталине настоящего художника. Так что рассказанные им «истории» — не «бессовестная ложь». Или, по крайней мере, не большая ложь, чем, к примеру, полотна Лактионова, фильмы Пырьева или романы Бабаевского. С той только разницей, что персонажами сталинских повествований были реальные исторические лица.

Здесь действовал принцип «Красок не жалеть!» Сталин, человек пронизательный (как и всякая параноидально подозрительная личность) и хитрый (как и всякий политик макиавеллианского склада), хорошо разбирался в человеческих слабостях. И если на страницах своих исторических книг он выступает в роли бескомпромиссного морального судьи, то только потому, что роль эта была им сознательно избрана. Вот, например, известный «октябрьский эпизод» Зиновьева и Каменева (сюда же отнесен и Троцкий, предложивший не начинать восстания до открытия II съезда Советов). Нам сообщается: «Ленин требовал исключения из

партии этих гнусных пособников контрреволюции» (192). Почему же те не были изгнаны? Что помешало Ленину? Что заставило его не только не изгнать этих «гнусных пособников контрреволюции» из партии, но, напротив, возвести их на самую вершину партийной иерархии? Приблизительно то же, что заставило Сталина возвести на пост главного обвинителя «пламенных революционеров» Вышинского, зная такие факты его биографии, которых было вполне достаточно для того, чтобы уничтожить не только самого Вышинского, но и весь аппарат генпрокуратуры. Сталинские «истории» интересны не столько тем, что они говорят, сколько тем, о чем умалчивают. Поэтому читать их следует с превентивной осторожностью.

В биографии Ленина вождь предстает перед нами настоящим Сталиным. Он так же зорок, как Сталин («Ленин гневно бичует меньшевиков.., показывает непоследовательность, своекорыстие, трусость либеральной буржуазии, ее изменническое поведение; ни один шаг либералов не остается скрытым от его зоркого взгляда» (89)); так же последователен, как он, в отстаивании чистоты идеологии («Подло извращая и искажая марксизм, выбрасывая из марксизма его революционное содержание, оппортунисты пытались этим прикрыть свой отказ от пролетарской революции, от диктатуры пролетариата. Ленин возмущался и негодовал, видя, как бессовестно искажают марксизм оппортунисты. За чистоту революционного марксизма он всегда готов был драться до конца» (167)); так же видит опасности и справа и слева («Он громит меньшевиков... Одновременно он острый меч своей критики направляет против бойкотистов...» (104)); так же беспощаден к врагам революции («Ленину пришлось немало воевать против этих оппортунистов, путаников и интриганов, впоследствии оказавшихся гнуснейшими изменниками и бандитами. Требовались большая бдительность, большая прозорливость, чтобы не дать подобным элементам вредить делу социализма» (163)).

Борьба Ленина с «врагами» описывается буквально в тех же словах, в каких будет описываться она в биографии Сталина и в «Кратком курсе». Это — применение какого-то болевого приема, неожиданного и эффективного; костоломной грубой силы, все сметающей на своем пути. Так, в 1912 году, «ломаю все препятствия, громя всех врагов, отбрасывая прочь с дороги всех сопротивляющихся, Ленин добивался созыва партийной конференции» (128); или — в 1917-ом: «Каменев, Рыков и другие вышли из ЦК и Совнаркома. Бегство из ЦК и Совнаркома жалкой кучки трусов не поколебало Ленина. Изменники и предатели были отброшены прочь» (199).

Когда все оказались «сломлены», «отброшены», «разгромлены» и «сметены», история, наконец, обезлюдела. В пустынной этой истории и начался второй акт ленинской драмы — его слияние со Сталиным. Об этом — весь сталинский рассказ под названием «Биография Ленина».

Сталин впервые появляется в биографии Ленина уже на 23 странице, где рассказывается о том, что Ленин написал книгу «Что такое друзья народа»: «Читал ее в Тифлисе и молодой Сталин, только что вступивший в революционное движение». Буквально через одну страницу в связи с другой ленинской брошюрой сообщается: «Ознакомился с этим сборником и товарищ Сталин, на которого ленинская статья за подписью К. Тулин — «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» произвела громадное впечатление» (25). Может возникнуть, конечно, вопрос: откуда стало известно о его впечатлении от этой статьи? Или: какое вообще имеет отношение к биографии Ленина впечатление двадцатилетнего никому не известного Сталина?

Подобные вопросы (возникли они у читателя) свидетельствовали бы лишь о том, что читатель этот не готов к восприятию сталинского текста. Текст этот — чему бы ни был он посвящен — вопросам языкознания или народнохозяйственным проблемам — имеет всегда один и тот же предмет: власть и ее носителя —

Сталина. Эта эгоцентрика сталинского нарратива предполагает двойное чтение. В нем говорится всегда о разном. И всегда — об одном и том же. Соответственно, на Ленина мы можем смотреть только в сталинской проекции.

Каждый факт ленинской биографии (до того, как пути двух вождей пересеклись) приобретает характер привязки и повода рассказать что-нибудь о Сталине. Ясно, что историческая встреча двух вождей сняла многие сюжетные осложнения в изложении «истории», которая потекла теперь в русле обычного фабульного повествования. Одна из основных линий которого сводится к тому, что Сталин был при жизни Ленина его заместителем: «Ленин руководил съездом из подполья через своих соратников — Сталина, Свердлова, Молотова, Орджоникидзе. Он набросал тезисы по основным вопросам съезда. Непосредственным руководителем съезда был товарищ Сталин. В своих докладах товарищ Сталин четко, по-ленински сформулировал задачи и тактику борьбы партии на новом этапе революции» (182). Поскольку же фактических указаний на подобную роль Сталина биография Ленина не дает, в ход идет знакомый читателю конца 1930-х годов, но отсутствующий в партии при жизни Ленина, столь любимый Сталиным чисто аппаратный принцип объяснения событий.

Например: «По предложению Ленина был избран Партийный центр для руководства восстанием во главе с товарищем Сталиным. Этот Партийный центр являлся руководящим ядром Военно-революционного комитета при Петроградском Совете и руководил практически всем восстанием» (191). «Центр... Комитета... при Совете», во главе которого оказался Сталин, автоматически (формально) превратил его в ключевую фигуру Октябрьского переворота: «Всем делом подготовки восстания непосредственно руководил Партийный центр, сосредоточивший все нити восстания в своих руках. Ленин в это время находился на нелегальном положении» (192). Легко заключить, что сам Ленин руководить восстанием был не в состоянии, а с чисто бюрократической точки зрения, его возглавлял Сталин.

Вообще же роль Сталина подчеркивается как бы «незаметно» — какой-нибудь придаточной синтаксической конструкцией, оборотом: «Во время болезни Ленина его часто посещал Сталин, руководивший работой партии» (279). Или: «Съезд принял за основу программы проект, разработанный Лениным, и выбрал для составления новой программы комиссию, в которую вошли Ленин, Сталин и другие» (210). Кто «другие» — конечно, не сообщается. Обезлюдившая история превращается в некую пустую раму, в которую помещаются любые персонажи. Скажем, «в апреле 1920 года партия большевиков отмечала пятидесятилетие своего вождя и основателя — Владимира Ильича Ленина. На вечере, организованном Московским комитетом 23 апреля, выступали ближайшие соратники и друзья Ленина — Сталин, Горький и другие. В конце собрания Ленин произнес небольшую речь» (249). Здесь, конечно, неважно, кто «другие». Зато в ином случае наличие «других» создает своего рода оптический обман: «Ленин принял решительные меры к укреплению штаба революции — Центрального Комитета. В ЦК были выбраны твердые и испытанные большевики: Ленин, Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин, Дзержинский, Орджоникидзе, Фрунзе, Киров, Куйбышев и другие» (260). Набор (точнее — отбор: ведь в ЦК входило довольно много людей) имен примечателен: перед нами как бы сталинское Политбюро, отобранное... Лениным.

Действия Ленина последовательно переписываются Сталиным под собственный поведенческий канон. Ленин не только, подобно самому Сталину, дает все время «директивы» и «указания», но и говорит буквально сталинскими цитатами («Ленин учил искровцев никогда не отказываться от малого в работе, ибо из малого строится великое» (61)). Поскольку же биография эта создана в проекции уже завершенной истории, в действиях Ленина особо выделяются важные для Сталина моменты «стратегического характера». Прежде всего, момент предвидения («С гениальной прозорливостью Ленин предвидел дальнейший ход развития револю-

ции» (91)). Сталин ведь был таким же провидцем. В контексте этой провидческой стратегии военные неудачи 1941—1942 годов объяснялись, например, «гениальным планом сталинского организованного отступления», поэтому уроки «искусства отступления» приписывались Ленину: «Ленин и Сталин, искусно маневрируя, не допустили преждевременного боя в неблагоприятных условиях, не дали буржуазии потопить в крови движение рабочих и крестьян» (180); «В 1905 году Ленин учил партию искусству революционного наступления, теперь он учит ее тому, как правильно и организованно отступать, отступать последними, чтобы, собрав силы, вновь перейти в более мощное наступление» (102); «Большевики под руководством Ленина отступали, отступали организованно, в полном порядке, громя всех, кто пытался превратить это отступление в паническое бегство» (131).

Биография Ленина завершается апофеозом сталинской «Клятвы». Речь Сталина на траурном заседании съезда Советов по случаю кончины Ленина описывается следующим образом: «Трудно передать словами, с каким напряженным вниманием слушал съезд речь Сталина... Речь товарища Сталина была исключительной по своей силе. Сталин дал от имени партии великую клятву» (291—292). Знаменитая «Клятва» состояла из шестикратного повтора: «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам... Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы...» Текст сталинской клятвы выделен в ленинской биографии особым шрифтом, но к нему подверстан еще и ряд выделенных «положений»: «Сталин — верный ученик и боевой соратник Ленина — продолжает бессмертное дело Ленина» (292—293); «Ленин — творец ленинизма... Учение Ленина — маяк, освещающий путь победоносной борьбы трудящихся за свое освобождение... Товарищ Сталин дал классическое определение ленинизма: “Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Точнее: ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности”» (296). Последнее «положение» может служить образцом сталинского стиля. Речь идет не только о конструкции, типа «Ленин — творец ленинизма», но и о самом построении сталинского «классического определения ленинизма» со всеми этими «поясняющими конструкциями»: «точнее... вообще... в особенности».

Биографии Ленина и Сталина замкнутся в «Кратком курсе» — истории их встречи. Пока же отметим: не пропагандистские, мифологические, идеологические и иные установки автора определяют нарративную природу сталинских текстов — эти установки были лишь побочными причинами. Главная же причина создания книги «Ленин Владимир Ильич. Краткий очерк жизни и деятельности» связана с *легитимацией сталинской власти*. В отсутствие этого текста цепь из трех книг не могла бы замкнуться в стройную мифологию советской истории. Радикальное же преобразование биографии, с которым мы имеем здесь дело, могло быть результатом только огромного *художественного* усилия, что позволяет говорить о не столько об «эстетизации политики», сколько об *эстетической* природе советского политического (и в том числе — исторического) дискурса.

«Мастер от революции» (Сталин-автобиограф)

Нам предстоит идти проторенной дорогой. Три книги Сталина — это трижды повторенная история. История та же. Жанры разные. Биография Ленина была не просто предисловием к биографии Сталина. Сталин-автобиограф — явление в своем роде исключительное.

Если государственная монополия на биографию Ленина, установленная в 1930-е годы, фактически сделала невозможной иную (не сталинскую) ее интерпретацию, то официальная монополия на биографию Сталина никогда, как известно, не устанавливалась. Пока жив был Сталин, его биография могла принадлежать *только*

ему самому. Поэтому у Сталина не могло быть биографа. Его биография могла быть только автобиографией. В то же время, она никогда в такую автобиографию превратиться не могла. Мы опять сталкиваемся с анонимностью текста, но на этот раз ситуация оказывается и более ясной (известно, что именно вписывал сам Сталин в свою биографию), и более сложной. Сложность эта жанровая.

Поскольку все три книги анонимны, можно заключить, что Сталин никогда не говорил о себе. Но поскольку перед нами именно сталинские тексты, ясно, что говорил он всегда только о себе. Биография Ленина — самый анонимный текст, но и самый прозрачный. Здесь Сталин мог говорить о себе в третьем лице без смущения. Дело в том, что он существовал в двух лицах: как частное лицо и как собственно Сталин. Это раздвоение личности не раз описывалось очевидцами. Известна, например, сцена его объяснения с сыном, слухи о лихих выходках которого будоражили в конце 1940-х годов всю Москву. Сталин грозно отчитывал Василия: «Ты позоришь имя Сталина! Ты думаешь, что ты Сталин? Может быть, ты думаешь, что я Сталин? Вот Сталин», — сказал он ему, указав на свой парадный портрет, украшавший кабинет вождя.

Подобная внутренняя раздвоенность наблюдалась и в публичных выступлениях Сталина. В его биографии приводится цитата из речи перед избирателями в декабре 1937 года: «Со своей стороны я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете смело положиться на товарища Сталина. Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом, перед рабочим классом, перед крестьянством, перед интеллигенцией».

Думать и говорить о себе в третьем лице стало не просто грамматической привычкой, но особенностью сталинского мышления. В романе «Солдатами не рождаются» Константина Симонова, есть примечательный пассаж: «у него было то, годами, тщательно, навсегда выработанное выражение лица, которое должно было быть в присутствии этих людей у товарища Сталина, как он уже давно мысленно, а иногда и вслух, в третьем лице, называл самого себя»¹⁰.

В своей разоблачительной речи на XX съезде Хрущев рассказывал, как Сталин вписал в свою собственную «Краткую биографию» следующий абзац: «Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа и имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал и тени самомнения, зазнайства, самолюбования»¹¹. Слишком политически острой была проблема, чтобы мог задуматься Хрущев, а с ним и последующие историки, над очевидным вопросом: может быть, дело действительно не в «зазнайстве»? Просто иначе нельзя «мастерски выполнять задачи вождя партии и народа»?

«Биография Сталина» — один из самых загадочных литературных и политических памятников советской эпохи. Несомненно, этот текст — настоящая находка для психоаналитика. Врачей Сталин, как известно, не жаловал, а потому занимался самотерапией. Нет сомнения в том, что этот текст Сталина является своего рода рационализацией его страхов. Текст этот, несомненно, параноидальный: авторский импульс прорывает грань всяких «приличий» (о достоверности речь уже не идет); художественная мера исчезает и похвальба достигает иногда совершенно гротескных форм, переходя в откровенную хлестаковщину. Потому-то текст и был анонимным: Сталин его подписать не мог, ибо, по собственному его утверждению, «не допускал и тени самомнения, зазнайства, самолюбования»; никто другой не мог быть достаточно авторитетным, чтобы поставить свое имя под сакральным текстом. Потому у биографии этой и нет автора, а есть только «составители» из Института Маркса-Энгельса-Ленина. Подобная ситуация создавала неограниченные возможности для реализации сталинской скромности.

Сталин был, несомненно, человеком травмированным. Травма была нанесена во время дележки власти. В момент, когда началась борьба за власть после Ленина, Сталин, по общему признанию, обладал наименьшим кредитом: он не был ни

оратором, ни теоретиком, он никак особенно не проявил себя ни до революции, ни во время ее, ни в годы гражданской войны. Именно отсюда — гипертрофия «заслуг» и то невероятное их нагромождение, над которыми смеялся Хрущев. Борьба за власть прошла, но Сталин так и не смог остановиться. Он дописывал свою биографию, выдумывая все новые и новые «факты», приписывая все более превосходные эпитеты, пока его биография не превратилась в пустую раму, которую он заполнял как угодно. Она превратилась в фабулу, пригодную для любого сюжета. Остались только «леса» — ссылки, побег, участие в тех или иных событиях и т. д. Все остальное было придумано с поистине гоголевской фантазией.

Сталин, будучи плохим трибуном, несомненно, обладал стилем, но это был письменный стиль — «ораторский» стиль аппаратной риторики. В него и облек он свои художественные фантазии. Своими книгами он компенсировал свое отсутствие на революционных трибунах. Парадоксальным образом, Сталин оказался единственным, кто в действительности осуществил эстетический проект революционного жизнетворчества. Не только в жизни, но и на бумаге. Ничего нового, кроме этой ярко своеобразной художественной стилистики, сталинские тексты не предлагают. Даже «самовосхваление» не было выдумкой Сталина. Открытия в этой области, несомненно, принадлежали главному его сопернику — Троцкому. В военных уставах ни одной цивилизованной армии мира нельзя было бы найти в то время того, что придумал Троцкий в 1922 году. В параграфе 41 политического Устава Красной Армии была помещена... его политическая биография, в которой Троцкий предстал героем, олицетворением революционной и военной доблести. Параграф заканчивался словами: «Тов. Троцкий — вождь и организатор Красной Армии. Стоя во главе Красной Армии, тов. Троцкий ведет ее к победе над всеми врагами Советской республики»¹². Сталину оставалось только заменить имя, не меняя даже порядка слов.

Если биографию Ленина приходилось переписывать, то биографию Сталина нужно было писать. И тут мы согласимся со сталинской самооценкой: он «мастерски выполнил задачи вождя партии и народа». «Мастерски» — значило для Сталина много. «Мастерство» он ценил превыше всего (вспомним его телефонный разговор с Пастернаком о Мандельштаме: «Но ведь он мастер?!»). Поэтому, когда Сталин называет себя «мастером» («Под руководством Ленина я стал одним из мастеров от революции» (61)), отнестись к этому стоит со всей серьезностью. Он дал «партии и народу» — как настоящий их вождь — свой образ.

Если биография Ленина была хотя бы фабульно связана с реальными событиями, то в сталинской биографии связь эта истончается. Скажем, самое появление Сталина выводится не из факта рождения, но из игры исторических сил. Сталин — чистый продукт исторических закономерностей. Вначале сообщается, что «созданный и руководимый Лениным “Союз борьбы за освобождение рабочего класса” дал могучий толчок развитию социал-демократического движения по всей стране» (6), что «волны рабочего движения докатились и до Закавказья, куда уже проник капитализм» (6), что «развитие промышленного капитализма сопровождалось ростом рабочего движения» (7), что «в Закавказье началась пропаганда марксизма» (7). Затем «крупный план» сменяется изображением тифлисской православной семинарии, где учился Сталин. Оказывается, она «являлась тогда рассадником всякого рода освободительных идей среди молодежи, как народнически-националистических, так и марксистско-интернационалистических; она была полна различными тайными кружками» (7). И тут выясняется, что «господствовавший в семинарии иезуитский режим вызвал у Сталина бурный протест, питал и усиливал в нем революционные настроения. Пятнадцатилетний Сталин становится революционером» Развязка, как всегда, наступает стремительно.

Сталин настолько приподнят над реальностью, что даже упоминание каких-то биографических фактов становится излишним. Собственно, Сталин ничего само-

стоятельно не делает. Ленинская биография присутствует как своего рода предтекст. Он и проделывал на Кавказе буквально то же, что Ленин в столице: «соединил социализм с рабочим движением» на Кавказе, «точно так же, как это блестяще осуществилось за несколько лет перед этим петербургским “Союзом борьбы”, руководимым Лениным» (15); создал газету «Брдзола», которая «являлась лучшей после “Искры” марксистской газетой в России» (16).

Разумеется, так же, как и в Ленине, «царизм чувствовал, что в лице Сталина он имеет дело с крупнейшим революционным деятелем, и всячески стремился лишить Сталина возможности вести революционную работу» (43—44). Но если в биографии Ленина подобные оценки сопровождались какими-то фактами (значение которых было, конечно, сильно преувеличено), то в случае со Сталиным таких ссылок нет вовсе. Просто сообщается: «Не успевали царские опричники водворить Сталина на новое место ссылки, как он вновь бежит и снова на “воле” кует революционную энергию масс» (44). Как именно «кует»? Фантастической своей деятельностью, в результате которой Баку — «важнейший центр рабочего движения в России... превращается в цитадель большевизма» (44—46).

Причем его деятельность так же невероятно плодотворна, как и ленинская (как помним, Ленин за два месяца в Лондоне переработал чуть ли не всю библиотеку Британского музея). Эта экстенсивность производимой Сталиным работы отличается только тем, что Ленин пишет, а Сталин действует. К примеру, в Батуме за 4 месяца (с конца ноября 1901 года по начало марта 1902 года) Сталин «развертывает кипучую революционную работу: устанавливает связи с передовыми рабочими, создает социал-демократические кружки, лично ведет ряд кружков, налаживает нелегальную типографию, пишет пламенные листовки, печатает и распространяет их, руководит борьбой рабочих на заводах Ротшильда и Манташева, организует революционную пропаганду в деревне. Сталин создает в Батуме социал-демократическую организацию, основывает Батумский комитет РСДРП, руководит забастовками на заводах... Сталин неутомим: он систематически объезжает районы Закавказья (Батум, Чиатуры, Кутаис, Тифлис, Баку, крестьянские районы западной Грузии), укрепляет старые и создает новые партийные организации; он участвует в ожесточенных схватках с меньшевиками..., энергично защищает большевистские позиции...» (18—22). Ясно, что «батумские рабочие уже тогда называли его учителем рабочих» (18).

Последним штрихом к этой фантастической картине может служить описание деятельности Сталина в Петербурге: «6 сентября 1911 года товарищ Сталин нелегально выезжает из Вологды в Петербург. В Петербурге товарищ Сталин устанавливает связи с петербургской партийной организацией; направляет и организует борьбу против ликвидаторов — меньшевиков и троцкистов; спланирует и укрепляет большевистские организации Петербурга. 9 сентября 1911 года товарищ Сталин был арестован в Петербурге и сослан в Вологодскую губернию» (48—49). Если вычесть день приезда (7-е сентября) и день ареста (9-е сентября), получится, что вся эта титаническая работа была осуществлена за один (!) день.

После этого не стоит, конечно, удивляться сообщениям о том, что «Сталин был организатором и инициатором всех большевистских изданий на Кавказе» (23), или что редактируемая Сталиным газета «Пролетариатис Брдзола» «после ленинского Центрального Органа партии “Пролетарий” была самой лучшей и крупной большевистской газетой» (25). В ней «Сталин выступает как талантливый полемист, как крупнейшая литературная и теоретическая сила партии, политический вождь пролетариата, верный последователь Ленина» (25). Пассаж завершается вполне фантастически (как и начинался): «Ленин с восхищением отзывался о “Пролетариатис Брдзола”, ее марксистской выдержанности, превосходных литературных качествах» (25). Все это Ленин делал, не владея грузинским языком...

Перед нами, конечно, обман. Но эта традиционная констатация несколько не

продвигает нас в понимании природы сталинского повествования. Ложь здесь настолько очевидна, что кажется, будто рассказчик зарпортовался. Между тем, рассказчик в полном здравии. Эта хлестаковщина вовсе не после «плотного обеда» в богоугодных заведениях Земляники. Сталин лжет вдохновенно. И потому — не лжет вовсе. Иной биографии у вождя быть попросту не может. Перед нами именно художественный текст, подходить к которому с точки зрения правды или вымысла бесполезно. Точно так же, как бесполезно знание о том, кто именно написал «Юрия Милославского» — Загоскин или Хлестаков. В ситуации, сложившейся в гостинице городничего, начитанность лишь подводит Марию Антоновну...

Только имея в виду этот аспект дела, можно понять излюбленный сталинский рассказ о гражданской войне. Она была одной из главных сталинских травм: это был звездный час главного его соперника — Троцкого, время унижений и провалов Сталина. Поэтому информация, обрушиваемая на читателя приобретает лавинообразный характер: «Всюду, где на фронтах решались судьбы революции, партия посылала Сталина. Он был творцом важнейших стратегических планов. Сталин руководил решающими боевыми операциями. Под Царицыным и под Пермью, под Петроградом и против Деникина, на западе против панской Польши и на юге против Врангеля — всюду железная воля и стратегический гений Сталина обеспечивали победу революции. Сталин был воспитателем и руководителем военных комиссаров, без которых, по определению Ленина, не было бы Красной Армии. С именем Сталина связаны самые славные победы нашей Красной Армии» (83). Но и этого оказывается Сталину мало («Веровочка? Давай сюда и веровочку...»): «Сталинские указания лежали в основе оперативного плана Фрунзе, по которому был разгромлен Врангель» (80)...

«И “Юрия Милославского” тоже я написал...»

Чего бы ни касался сталинский рассказ (а касается он буквально всего, поскольку действия вождя не только предельно интенсивны, но и тотально экстенсивны), он возвращается к исходной точке — фигуре самого повествователя. Эта особенность автобиографического повествования позволяет рассматривать сталинскую биографию как наиболее фантастический в мировой истории образец автобиографического жанра. Описываемые здесь никогда не происходившие события заставляют предположить, что целью этого текста был вовсе не рассказ о жизни Сталина, а попытка конструирования некоей новой исторической реальности, где важны не события как таковые, но их производитель — Сталин.

Был ли Сталин наркомнацем — он «непосредственно руководил всей работой партии и Советской власти в деле разрешения национального вопроса в СССР... Нет ни одной советской республики, в организации которой Сталин не принимал бы активного и руководящего участия. Сталин руководит борьбой за Украинскую Советскую Республику, руководит делом создания Белорусской Республики и советских республик в Закавказье и Средней Азии, помогает многочисленным национальностям Советской страны строить свои автономные советские республики и области» (68).

Был ли он инициатором индустриализации — «ни одна область, ни один вопрос индустриализации не ускользали из поля зрения Сталина. Сталин — инициатор создания новых отраслей промышленности, развития и реконструкции ранее отсталых отраслей. Сталин — вдохновитель создания второй угольно-металлургической базы в нашей стране, строительства Кузбасса. Сталин организатор и руководитель социалистических строек» (110).

Наконец, после войны деятельность Сталина развернулась во всем своем фантастическом разнообразии, тотально замыкающем все сферы человеческого суще-

ствования: «Работа товарища Сталина исключительно многогранна; его энергия поистине изумительна. Круг вопросов, занимающих внимание Сталина, необъятен: сложнейшие вопросы теории марксизма-ленинизма — и школьные учебники для детей; проблемы внешней политики Советского Союза — и повседневная забота о благоустройстве пролетарской столицы; создание Великого северного морского пути — и осушение болот Колхиды; проблемы развития советской литературы и искусства — и редактирование устава колхозной жизни и, наконец, решение сложнейших вопросов теории и практики военного искусства» (239). Вскоре сюда добавятся и «вопросы языкознания», которыми Сталин занимался, видимо, не подзревая этого, всю свою жизнь.

В биографии Сталина немало провалов. Например, многие годы ссылок не отмечены никакими событиями. Между тем, и эти бессюжетные периоды не ставят повествователя в тупик. Сообщается, например, что «сидя в тюрьме, Сталин узнает от приехавших со II съезда партии товарищей о серьезнейших разногласиях между большевиками и меньшевиками. Сталин решительно становится на сторону Ленина, большевиков» (19). Это «становится» и является в данном случае неким действием. И хотя «действие» это не имеет никаких ощутимых результатов (какое имеет значение, что какой-то провинциальный революционер, будучи в ссылке, стоит на позиции той или иной фракции — к тому же само содержание фракционных споров не могло, конечно, быть понято Сталиным, не имевшим к ним никакого отношения), именно оно приобретает характер события: «Отрезанный от всего мира, оторванный от Ленина и партийных центров, Сталин занимает ленинскую интернационалистскую позицию по вопросам войны, мира и революции. Он пишет письма Ленину, выступает на собрании ссыльных большевиков в селе Монастырском (1915 г.), где клеймит позором трусливое и предательское поведение Каменева» (56).

В контексте сталинской биографии соотношение Сталин/Каменев в 1915 году (величины просто несопоставимые) оказывается не только реальным, но с явным перевесом в сторону первого. Достигается этот оптический эффект распространенным литературным приемом «автоповествования» — биография Сталина пишется с конца: еще только родившись он уже вождь, а Каменев уже трус и предатель. Эта оптика и определяет известную способность Сталина «предвидеть» (это предвидение назад) «будущее». Божественное это свойство постоянно подчеркивается в биографии.

В результате история приобретает обоснованность. Можно сказать, что она сама себя обосновывает. Этот идеологический перпетуум мобиле был одним из главных изобретений сталинских исторических нарративов. Средоточием провидения является Слово. Ясно, поэтому, что действия Сталина — это слова и указания: Сталин «поставил задачу свести к нулю численное превосходство немцев в танках и авиации... Это указание вождя имело величайшее значение для исхода войны. Выполняя это указание, советская промышленность из месяца в месяц увеличивала выпуск самолетов, танков и средств борьбы с ними, ликвидировав в ходе войны превосходство врага в численности боевой техники» (191). Действия промышленности являются, следовательно, результатом «указаний», а, скажем, Сталинградская битва — «ярким торжеством сталинской стратегии и тактики, торжеством гениального плана и мудрого предвидения великого полководца, проницательно раскрывшего замыслы врага и использовавшего слабости его авантюристической стратегии» (203). Итоги этих «действий», по сути, являющихся лишь эманацией сталинского Слова, предстают в виде монументальных картин: немецкие «знамена были брошены к ногам победившего советского народа, к подножию Ленинского Мавзолея, на трибуне которого стоял Великий Полководец — Сталин» (221).

Действие сталинского Слова, являющегося посредником между вождем и массами, обладает поистине универсальной силой. По сути, вся сталинская история

— это история его Слова: «Нанеся сокрушительный удар «левацким» искривлениям и вместе с тем развеяв по ветру надежды интервентов, товарищ Сталин, как учитель миллионных масс, объяснял партийным и беспартийным кадрам, в чем состоит искусство руководства» (131). «Искусство руководства» состоит, как можно видеть, в том, чтобы — Словом — «наносить сокрушительные удары» и «развевать по ветру».

Перед нами — чистое событие языка. Так, за один день в Петербурге Сталин (может быть) успел встретиться с кем-то из действующих революционеров (значит: «устанавливает связи с петербургской партийной организацией»), (может быть) переговорил с ним о текущих внутрипартийных склоках (значит: «направляет и организует борьбу против ликвидаторов — меньшевиков и троцкистов»), (может быть) узнал, о чем говорят рабочие (значит: «спланирует и укрепляет большевистские организации Петербурга»). Этот перевод неких действий (неважно, реальных или вымышленных) на другой язык и составляет самую суть сталинского нарратива. Формирование нового языкового поля, нового дискурса о реальности вновь обращает нас к вопросу о природе исторического нарратива.

В «Метаистории» Уайт замечает, что индивидуальная историческая концепция сама по себе обладает «согласованностью» и «самодостаточной тотальностью», придающими ей «отличительные стилистические атрибуты»: «Проблема здесь в том, чтобы дать обоснования этим согласованности и самодостаточности. С моей точки зрения, — пишет Уайт, — эти основания являются поэтическими и специфически лингвистическими по своей природе». «Просчитывание» материала, подлежащего презентации и обоснованию, Уайт называет «поэтическим актом, неотличимым от лингвистического акта, в котором исследовательское поле уже готово (ready-made) для интерпретации»¹³.

Вот эта уже сделанная История — «ready-made History» — и является «материалом», из которого рождается исторический нарратив. Отсюда следует, что повествование разлагается на разного рода фигуры и тропы. То, что Уайт называет «исторической тропологией», системой тропов исторического повествования, было сформировано у Сталина в семинарии, ставшей первой (и последней) ступенью его образования. Поэтому вся теория политической борьбы (из которой выростала в сталинском сознании ее история) описывается в категориях не только эпического (библейского) времени, но в категориях религиозного поведения, усвоенного им из круга семинаристского чтения. Образцы такого мышления находим в сталинском биографии. Такой, например, аргумент в политическом споре: надо принять ленинскую «теоретическую предпосылку» — «и никакой оппортунизм не подступит к тебе близко» (26—27). Перед нами ситуация гоголевского «Вия»: ведьма не проникнет за обведенный крестом круг. Или такое сталинское объяснение:

«Что такое научный социализм без рабочего движения? — Компас, который, будучи оставлен без применения, может лишь заржаветь, и тогда пришлось бы его выбросить за борт.

Что такое рабочее движение без социализма? — Корабль без компаса, который и так пристанет к другому берегу, но, будь у него компас, он достиг бы берега гораздо скорее и встретил бы меньше опасностей.

Соедините то и другое вместе, и вы получите прекрасный корабль, который прямо понесется к другому берегу и невредимым достигнет пристани.

Соедините рабочее движение с социализмом, и вы получите социал-демократическое движение, которое прямым путем устремится к «обетованной земле»» (28—29).

Перед нами — классический образец клерикальной риторики с ее «диалектикой противоположных начал», с ее радикальными оппозициями, с ее образностью (соль, потерявшая силу, годится только на то, чтобы бросить ее свиньям). Подобных примеров — множество в сталинских текстах, симулирующих логику, заменя-

ющих ее простой бинарностью, опирающейся на жанровые каноны усвоенных им в семинарии текстов или на чистую риторику: «Да, господа, тщетны ваши старания! Русская революция неизбежна. Она так же неизбежна, как неизбежен восход солнца! Можете ли остановить восходящее солнце?» (32—33). Сама апелляция к подобной образности выдает в Сталине страстного (хотя и примитивного) ротора.

Между тем, Сталин безошибочно чувствовал своего читателя. Его повествование находится в постоянном стилевом движении. Он то переходит на язык школьного учебника, рассчитанного даже не на пионеров — на октябрят («Свергнутые Октябрьской социалистической революцией, российские помещики и капиталисты стали сговариваться с капиталистами других стран об организации военной интервенции против Страны Советов. Они ставили себе целью разгромить рабочих и крестьян, свергнуть Советскую власть и закабалить снова нашу страну» (70)), то вдруг симулирует стиль «историко-партийной науки»: в речи на конференции аграрников-марксистов в 1929 году «товарищ Сталин разоблачил буржуазную теорию “равновесия” секторов народного хозяйства, разбил антимарксистскую теорию “самотека” в социалистическом строительстве и антимарксистскую теорию “устойчивости” мелко-крестьянского хозяйства. Разгромив все эти буржуазные, антимарксистские, правооппортунистические теории, товарищ Сталин дал глубокий анализ природы колхозов... Товарищ Сталин с присущей ему гениальной прозорливостью научно доказал... Великий диалектик — Сталин показал...» (126—127). Обращает на себя внимание не только знакомое хлестаковское «все» (Сталин разгромил, конечно, *все* теории), но и самое определение каких-то политических и политэкономических лозунгов и установок как «теорий». Самое закавычивание слова «теория» означает, разумеется, ее ложность. Теория без кавычек, напротив, — величайшая сила. Она — признак научности (еще одна сталинская травма: он никогда не был «теоретиком»). Поэтому Сталин предстает перед нами не просто как политик, но именно как ученый («научно доказал»). Легко заметить, что это ощущение «научности» создается чисто стилистически — путем называния лозунгов теориями.

«Научность» сталинских текстов строится на принципе «доступности», согласно которому читатель получает «теории» в виде неких аксиом. Соответственно, антитеории (теории в кавычках) строятся на доведении до простой оппозиции «антитеории» и «теории». Например: «Сталинскому плану социалистической индустриализации капитулянты Зиновьев и Каменев пытались противопоставить свой “план”, согласно которому СССР должен был остаться аграрной страной. Это был предательский план закабаления СССР и выдачи его со связанными ногами и руками империалистическим хищникам. Сталин сорвал маски с этих презренных капитулянтов, вскрыл их троцкистско-меньшевицкую сущность» (103). Неважно, что Зиновьев и Троцкий настаивали именно на форсированной индустриализации (что, как известно, и было проделано Сталиным). Важно то, что их «план» (вновь семантически важные кавычки) был «предательским», а еще точнее — «выдавал СССР со связанными ногами и руками империалистическим хищникам». Последняя картина («связанные ноги и руки», «империалистические хищники») была, конечно, максимально доступной «массовому читателю». Становилось неважно, что именно говорили «капитулянты». Важно то, что они делали нечто страшное.

Логика оппозиции («не то, а это», «если то, тогда это» и т. п.) цементирует сталинский дискурс, делая невозможным даже потенциальное неаксиоматическое суждение о событиях. Она обнаруживает себя в аутентичных сталинских выступлениях, образцы которых нередко встречаются в биографии вождя. Вот типичные высказывания Сталина: «Не убаюкивать партию надо, — а развивать в ней бдительность, не усыплять ее, — а держать в состоянии боевой готовности, не разору-

жать, — а вооружать, не демобилизовывать, — а держать ее в состоянии мобилизации для осуществления второй пятилетки» (145). Или: «Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в армии, — наша страна будет непобедима. Не будет у нас таких кадров — будем хромать на обе ноги» (151).

Перед нами — чисто тавтологические конструкции. Проанализировав эти «лингвистические игры», Михаил Эпштейн назвал лекала, по которым создаются подобные конструкции, «релятивистскими моделями тоталитарного мышления»¹⁴. Стоит, впрочем, заметить, что такого рода текст неизбежно распадается: смысловые скрепы разъедаются тавтологическим пробалтыванием, когда, в результате, перед нами оказываются совершенно полные конструкции «однородности».

Сталинский дискурс — это логический капкан. Он строится на замыкании нарратива в «круг», из которого есть только один выход — вовнутрь. Отсюда — пламенеющий амфир сталинского стиля. «Все знают непреодолимую сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность его ума» (239). Сталинские истории демонстрируют эту «сокрушающую ясность» наиболее полно.

В чем же разница между биографией Ленина и автобиографией Сталина? Жанровое различие лежит на поверхности, но дело не в нем. Дело в раздвоении повествователя. Перед нами — автобиография Другого, сталинского двойника. Но этот двойник и был главным персонажем личной драмы Сталина, который всю жизнь выстраивал свое «третье лицо». Поэтому и биография Ленина оказывается биографией этого Другого, и автобиография самого Сталина превращается в биографию Сталина-вождя. Перед нами — жанровый коллапс: автобиографию Сталин писать не мог, поскольку опять-таки писал биографию того самого Сталина, о котором говорил и думал в третьем лице и на парадный портрет которого указывал сыну. В результате, тавтологическое производство достигло своей вершины: нам по крайней мере дважды рассказаны биографии одного и того же персонажа. Этот «Ленино-Сталин» и был настоящей эманацией Власти — главного нарратора и, в конечном счете, главного потребителя собственных нарративов, озабоченного собственной легитимностью и продуцировавшего особую поэтику идеологического дискурса; власть является целью и субъектом наррации. Попутно заметим, что самая «краткость» сталинских текстов — продукт тавтологии, которая в пределе является кратчайшей формулой пустоты.

Попытаемся все же определить действия повествователя в биографиях вождей. Во-первых, это художественное творчество (производство некоей иной исторической реальности); во-вторых, это лингвистические операции (создание собственно дискурса о прошлом); в-третьих, это поэтический процесс («историческая топология»); в-четвертых, это перевод (с языка некоей возможной реальности в сталинский нарратив); в-пятых, это интенсивное жанропроизводство (трансформации жанров биографии и автобиографии).

Как можно видеть, все действия сугубо литературного свойства. Никаких признаков отраженной реальности они не несут или несут лишь в качестве сопутствующих. Центральная проблема этих текстов — проблема авторства. Это самые анонимные и одновременно самые публичные тексты советской культуры (в сталинской биографии приводятся слова Андрея Жданова на XVIII съезде о «Кратком курсе»: «Надо прямо сказать, что за время существования марксизма это первая марксистская книга, получившая столь широкое распространение» (164)). Парадокс анонимности этих текстов состоял в том, что нарратором выступал Сталин. Раздвоенный повествователь был анонимным в том лишь смысле, в каком говорил сам Сталин о Сталине в третьем лице. Но Сталин первого лица и был той самой Властью, которая излагала главное свое Слово — свою историю и свой собственный образ. Поэтому в смысле авторства рассматриваемые тексты — самые прозрачные в советской культуре. По крайней мере, очевидно, что они не могли быть

подвергнуты никакой цензуре даже гипотетически, поскольку высшей цензурой был сам их автор.

Что же касается главной исторической книги Сталина — «Краткого курса» — этой «Библии сталинизма»¹⁵, — то стоит отметить, что вопрос об авторстве этого текста решен в самой сталинской биографии. Здесь сказано: «В 1938 году вышла в свет книга “История ВКП(б). Краткий курс”, написанная товарищем Сталиным и одобренная комиссией ЦК ВКП(б)» (163). Это прямое указание на сталинское авторство «Краткого курса» подтверждается в его биографии и ссылкой на то, что по крайней мере знаменитая «философская глава» «Краткого курса» (по сути, являвшаяся на протяжении десятилетий матрицей для всей советской философии) была написана непосредственно Сталиным: «Работа И. В. Сталина “О диалектическом и историческом материализме”, написанная несравненным мастером марксистского диалектического метода, обобщающая гигантский практический и теоретический опыт большевизма, *поднимает на новую, высшую ступень диалектический материализм, является подлинной вершиной марксистско-ленинской философской мысли*». Несомненно, «Краткий курс» явился важнейшим звеном той литературно-исторической цепи из трех главных книг, которая скрепляет идеологический, исторический, литературный, мифологический и, наконец, ментальный свод здания культуры сталинской эпохи.

Сталин-исторический романист («Краткий курс» как соцреалистический текст)

Вся история человеческих отношений, учит марксизм, есть история борьбы за отчуждение и — с отчуждением. При капитализме предметом отчуждения является труд. Очевидно, что при социализме таким предметом является чистая власть.

Результатом такого отчуждения власти становится выведение личности за пределы политической реальности и реальных социальных отношений — в мир протезированных, «заменных» форм реальности, в мир своеобразных «симулякров» — форм образов, утративших реальность. Эти безреферентные формы приобретают в нашем случае ключевое значение — значение самой реальности. Референт — они сами. Отсюда — та роль, которую играет в сталинской культуре искусство соцреализма и различные формы политико-эстетического ритуала.

Задача этой культуры — поистине политико-эстетическая: создание новой реальности является необходимой составляющей замены отчужденного. Собственно, вся сталинская культура и занималась симуляцией искусства, политики и, конечно, истории. Массы получают свою историю (как и все остальные протезы) из рук власти — безымянную — от вождя. Статус исторических текстов в этом случае огромен. По сути, создание метасюжета (master-plot) для культуры — прямая задача вождя; ее решение по плечу только вождю. В этом смысле «Краткий курс» создал метасюжет для супержанров советского искусства — историко-революционного (а затем — панорамного) романа, пьесы, фильма; литературной, театральной и кино-ленинианы и сталинианы и т. д.

Основой абсолютной власти является предельное знание о мире. Таким предельным знанием, несомненно, является апокалипсис. Мы оказываемся в пространстве советской эсхатологии. Основная задача политико-эстетического проекта — приспособление конечного знания к повседневной жизни — «преобразование мнимостей эсхатологического знания в “целые числа” бытовых ориентаций»¹⁶.

В процессе этой перегонки эсхатологии в историю последняя должна быть переведена в новый режим, ибо «чтобы большевизм мог стать идеологической санкцией сталинского правления, а затем всех тоталитарных режимов в Европе и

Азии, его динамичные структуры должны были в пределах возможного быть заменены статичными»¹⁷. Эту «статическую» мы будем называть в дальнейшем «логикой», создающей новую историческую модальность и — реальность.

«Но почему же, — задается вопросом Михал Гловинский в своем блестящем введении в предмет — эссе о «Кратком курсе», — книга, излагающая этот миф (в сущности, главный интеллектуальный памятник сталинизма, дополненный отдельно изданными биографиями обоих вождей), была названа “кратким курсом”?» Гловинский предполагает, что это должно было указывать на то, что это часть какого-то грандиозного труда, который должен был быть когда-то выполнен. Но заявляет, что не имеет «удовлетворительного ответа на этот вопрос»¹⁸. Мы уже говорили о природе «кратких нарративов». Здесь важно другое: что значит «курс» — это учебник или история? Сталин-вождь как учитель заменяет разного рода «очерки» истории партии (каковых было к середине 1930-х годов очень много) единым «курсом». Но «курс» — это еще и русло, «генеральная линия», обращенная в прошлое. Какие-либо отклонения от нее невозможны. Потому-то в момент выхода книги, в 1938 году, история, начавшись (выход сталинского «священного писания»), тут же и закончилась — ее продолжения не последовало. К этому нам предстоит вернуться в конце этой статьи.

Сейчас обратим внимание на другой важный аспект проблемы: основным партийным документом оказывается не программа (взгляд вперед, как обычно), но... история (взгляд назад). Ханна Арендт высказала в своих «Истоках тоталитаризма» мысль о том, что, становясь общемассовыми, партии отказываются от программы. Можно было бы сказать, что они отказываются от «программного», перспективного видения. Им требуется в этом случае образ «масс» (не рабочего класса, на который делали ставку большевики, идя к власти, но всего общества, ставшего теперь «массой»). В этой смене оптики программа (перспектива) заменяется обратной перспективой — историей. В этом смысле «Краткий курс» истории партии есть по сути программа партии. Можно утверждать, что в 1930-е годы у партии не было никакой определенной программной цели, а формулируемые цели были сугубо политико-прагматическими, т.е. определялись условиями борьбы за власть и решением насущных проблем удержания, концентрации и легитимации своей власти. Будущее становится заложником «экспроприированного прошлого».

Чтобы понять природу этого дискурса, обратимся к типологии утопического сознания, разработанной Карлом Маннгеймом в его «Идеологии и утопии». Маннгейм выделяет пять основных типов такого сознания: «бюрократический консерватизм», «консервативный историцизм», «либерально-демократическое буржуазное мышление», «социалистически-коммунистическую концепцию» и «фашизм». Единственным типом, последовательно работающим в нашем случае, является первый, «существующий в рамках законов, уже сформулированных». «Консервативный тип знания, — замечает Маннгейм, — генетически является видом знания, дающегося практическим контролем»¹⁹. Важнейшей особенностью исторической оптики, произрастающей из такого типа ментальности, является следующая: «Исторические преобразования, существующие в любое данное время, не могут быть искусственно сконструированными, но растут, как растение из семени»²⁰.

Из маннгеймовских характеристик следует, по крайней мере, два принципиальных вывода: данному типу сознания свойственны «панисторизм» (все должно «расти» и «вызреть») и представление о тотальной «просчитываемости» (логике) истории, связанной с «практическим контролем» над обществом. Ясно, что «Краткий курс» целостно реализует эту программу. Сталинская травматика и единственно доступный Сталину, усвоенный им в семинарии, тип «рассуждения» превращает «Краткий курс» в законченный образец «панлогизма».

Его первой отличительной особенностью является своеобразный тотальный

«номинализм» (именно те известные «положения» книги, которые подлежали заучиванию «по пунктам»), когда «прочитывание» каждого явления заменяется его «просчитыванием».

Нередко таким способом заменяется самое изложение. Скажем, многие работы Ленина «излагаются» по «положениям» — с пунктами и подпунктами. Перед читателем — обширные цитаты, иногда занимающие целые страницы, с перебивкой, типа: «Ленин писал:» — цитата; «И дальше:» — цитата; «И еще:» — цитата, «Или еще:» — цитата.

Подобный способ изложения распространяется не только на «готовые» тексты, но и на сами исторические события, которые (усиленные сталинским «плетением словес») также превращаются в некие... «тексты»:

«1. Октябрьская революция имела перед собой такого политически малоопытного врага, как русская буржуазия...

2. Во главе Октябрьской революции стоял такой революционный класс, как рабочий класс России...

3. Рабочий класс России имел такого серьезного союзника в революции, как крестьянская беднота...

4. Во главе рабочего класса стояла такая, испытанная в боях партия, как партия большевиков...

5. Октябрьская революция началась в такой момент, когда...»²¹.

Цепь из пяти «выводов» лишь внешне содержит некую информацию. Достаточно заглянуть «вовнутрь» этих «положений», чтобы убедиться, что в них — лишь стиливые «эллипсы», чистая тавтология. Например: «2. Во главе Октябрьской революции стоял такой революционный класс, как рабочий класс России, класс, закаленный в боях, прошедший в короткий срок две революции и завоевавший к кануну третьей революции авторитет вождя народа в борьбе за мир, за землю, за свободу, за социализм. Не будь такого, заслужившего доверие народа, вождя революции, как рабочий класс России, не было бы и союза рабочих и крестьян, а без такого союза не могла бы победить Октябрьская революция» (203).

Не ошибемся, если скажем, что «логика» в «Кратком курсе» последовательно заменяет историю. «Сердцем» «Краткого курса» является «философский фрагмент» «О диалектическом и историческом материализме», фактически самостоятельная работа, прерывающая историческое повествование, тот самый фрагмент, который и был назван в сталинской биографии «вершиной марксистско-ленинской философской мысли». Это — настоящая методология сталинского исторического мышления, в которой его террористическая логика проявляется во всей своей тотальности.

Прежде всего сообщается, что «диалектический материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии» (99). Обратим внимание: не философия, а «мировоззрение», т. е., попросту говоря, идеология. Она-то и определяет ход исторического повествования, превращая его в рассуждение. Например: «Рабовладельческий строй для современных условий есть бессмыслица, противоестественная глупость. Рабовладельческий строй в условиях разлагающегося первобытно-общинного строя есть вполне понятное и закономерное явление» (104). Подобными оппозициями пронизана вся сталинская система мышления — или «глупость» (причем, «противоестественная», т. е. нечто нелогичное), или «закономерность». Ясно, что Сталин оперирует здесь не столько научными или историческими реалиями, сколько некими (художественно-образными) конструкциями, противопоставленными одна другой.

Между полюсами — тот же каскад «следующих» одно из другого «положений». Изложение идет буквально «взахлеб»: «... Дальше. Если мир находится в непрерывном движении и развитии, если..., то ясно, что... Значит, капиталистический строй можно заменить социалистическим строем, так же, как капиталистический

строй заменил в свое время феодальный строй. Значит, надо ориентироваться на те слои общества, которые... Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо смотреть вперед, а не назад. Дальше. Если переход медленных количественных изменений в быстрые и внезапные качественные изменения составляет закон развития, то ясно, что... Значит...» и т. д., и т. д. (105—106) Перед нами — бесконечная цепь «логем». Внутри их — все та же тавтология, оформленная однородными рядами, синонимичностью и антонимическими «оппозициями».

Таков механизм образования образов в сталинских нарративах. Казалось бы, в силу своей спекулятивной логичности он может работать без сбоев практически бесконечно. Однако тут включается еще один — уже собственно литературный принцип, своего рода «аварийная система питания». Мы говорим о литературности буквально, поскольку сам Сталин назвал его диалектикой «между духом и буквой» теории. Вся эта безупречная логическая цепь может быть разрушена одним художественным усилием — сменой отношений между «буквой и духом», ведь «марксистско-ленинская теория.., как наука, не стоит и не может стоять на одном месте, — она развивается и совершенствуется. Понятно, что в своем развитии она не может не обогащаться новым опытом, новыми знаниями, а отдельные ее положения и выводы не могут не изменяться с течением времени, не могут не заменяться новыми выводами и положениями... Овладеть марксистско-ленинской теорией вовсе не значит — заучить все ее формулы и выводы и цепляться за каждую букву этих формул и выводов. Чтобы овладеть марксистско-ленинской теорией, нужно, прежде всего, научиться различать между ее буквой и сущностью» (339).

Как же овладеть этим искусством «различения»? В качестве образца, ясное дело, приводится Ленин: «Что было бы с партией, с нашей революцией, с марксизмом, если бы Ленин спасовал перед буквой марксизма и не решился заменить одно из старых положений марксизма, сформулированное Энгельсом, новым положением о республике Советов, соответствующим новой исторической обстановке? Партия блуждала бы в потемках, Советы были бы дезорганизованы, мы не имели бы Советской власти, марксистская теория потерпела бы серьезный урон. Проиграл бы пролетариат, выиграли бы враги пролетариата».

Что было бы с партией, с нашей революцией, с марксизмом, если бы Ленин спасовал перед буквой марксизма, если бы у него не хватило теоретического мужества откинуть один из старых выводов марксизма, заменив его новым выводом о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой, стране, соответствующим новой исторической обстановке? Партия блуждала бы в потемках, пролетарская революция лишилась бы руководства, марксистская теория начала бы хиреть. Проиграл бы пролетариат, выиграли бы враги пролетариата» (341).

Перед нами — настоящий гимн «духу». Обнаруживается страшная картина: партия в потемках, Советы дезорганизованы, нет Советской власти, революция без руководства, теория хиреет — и все оттого, что Ленин «спасовал перед буквой» (характерно, что сами эти «старые (почему не «устарелые»?) выводы марксизма» предумышленно не формулируются). В чем же тогда сила «духа»? Она — в «исторической логике». Эта нить Ариадны и ведет читателя в будущее. В «Кратком курсе», пишет Гловинский, рассказывается о «формировании некоего мирового порядка, в котором фактор прогресса, упорядоченности, идеологической правоты берет верх над силами зла и над хаосом, предшествовавшим зарождению и триумфу нового идеала. Это своего рода книга «Бытие» и одновременно — теогония, в которой место олимпийских богов занимают два партийных вождя; ее увенчанием становится полная победа нового порядка, равнозначная устранению всех тех и всего того, что мешало его воцарению»²². Чем обеспечена победа? Тем, что «логика истории» (самое воплощение объективности) работает на нас.

Естественно предположить, что результатом подобного чтения истории становится выстраивание самой истории в соответствии с логикой. Например: «Боль-

шевики хотели создать новую, *большевицкую* партию... Книга Ленина “Что делать?” была *идеологической* подготовкой такой партии. Книга Ленина “Шаг вперед, два шага назад” была *организационной* подготовкой такой партии. Книга Ленина “Две тактики социал-демократии в социалистической революции” была *политической* подготовкой такой партии. Наконец, книга Ленина “Материализм и эмпириокритицизм” была *теоретической* подготовкой такой партии» (135—136). Перед нами некая цепь хронологически последовательных событий. Но последовательность здесь — лишь продукт системности процесса, подтверждение его «логичности».

Вот откуда — сталинское пристрастие к «повторным» конструкциям, которые своей ритмичной монотонностью симулируют «последовательность» и «логичность» *уже случившегося*: «Революция победит лишь в том случае, если ее возглавит пролетариат, если пролетариат, как вождь революции, сумеет обеспечить союз с крестьянством, если либеральная буржуазия будет изолирована, если социал-демократия примет активное участие в деле организации народного восстания против царизма, если будет создано в результате победоносного восстания временное революционное правительство, способное выкорчевать корни контрреволюции и созвать всенародное Учредительное собрание, если социал-демократия не откажется при благоприятных условиях принять участие во временном революционном правительстве, чтобы довести до конца революцию» (62). Эти шесть «если» означают здесь вовсе не условие, а результат: все они уже состоялись. Но, сдвигая модальность, Сталин превращает историю (в данном случае речь идет о революции 1905 года) в логику, логику — в историю, прошлое — в программу. Эффект, как можно видеть, достигается сугубо стилистическим приемом.

Вот откуда — излюбленные сталинские усиливающие конструкции: «Отныне должны были появиться — и действительно появились потом — целые отряды, тысячи и десятки тысяч красных специалистов, овладевших техникой и способных руководить производством... Все это должно было облегчить — и действительно облегчило, — развертывание реконструкции народного хозяйства» (301); «Новая избирательная система должна была привести и действительно привела к усилению политической активности масс» (333). «Должны были появиться» — «и действительно появились», «должно было облегчить» — «и действительно облегчило», «должна была привести» — «и действительно привела»... Все это — не только стиль, но — философия истории: «действительно» происходит то, что и «должно было» произойти. Оно и произошло-то только потому, что так «должно было» быть. Действия как будто «написаны» в тайной книге Власти, читать которую дано только вождю.

Вот откуда — отмеченные уже эпитеты при упоминании любой работы классиков («*Классическую* критику тактики меньшевиков и *гениальное* обоснование большевистской тактики дал Ленин в своей *исторической* книге “Две тактики социал-демократии в демократической революции”» (62); «Вот *гениальная* формулировка существа исторического материализма, данная Марксом в 1859 году в *историческом* «предисловии» к его *знаменитой* книге “К критике политической экономии”» (126) — курсив везде наш. — *Е. Д.*) — эти работы заполняют некие логические звенья истории (потому они и «знамениты», и «гениальны», потому и стали они «историческими» и «классическими»). Этот образ исторической реальности как некоей логической реальности (то есть чистого мыслительного конструкта) является высшим достижением сталинского художественного мышления. Ясно, что в этом случае самая историческая реальность (прошлое) лишается какой бы то ни было самостоятельной ценности: ее можно как угодно монтировать, додумывать, даже выдумывать. Главное, чтобы она была состоятельной, так сказать, логически, то есть, образно.

Итак, история предстает перед нами радикально переработанной повествова-

телем. Этот образ автора, «данный нам в ощущение» сталинской исторической логикой, заставляет взглянуть на предмет, так сказать, с «персональной» точки зрения.

Эта «персональность», рассмотренная нами ранее (в ленинской и сталинской биографиях), реализуется в «Кратком курсе» куда более стилистически и жанрово изысканно, чем в традиционных жанрах «личного нарратива» (биография, автобиография). Выстраивание повествователем собственного образа в «Кратком курсе» осуществляется уже не столько *через образ Другого* (Ленин) или *через собственное «третье лицо»*, сколько *через образ имперсональный*, а именно — *через образ Партии*.

«Краткий курс» открывается такой презентацией предмета: партия родилась «на основе рабочего движения в дореволюционной России из марксистских кружков и групп, которые связались с рабочим движением и внесли в него социалистическое сознание» (3). Партия — это живой организм: ее появление на свет произошло в результате... оплодотворения. Такое последовательно *метонимическое* изображение партии пронизывает весь «Краткий курс». Идет ли речь об организации в целом, или о каких-то событиях в ее (в буквальном смысле слова) «жизни». Например, II съезд партии изображается просто как человек: «Съезд оказался не на высоте своего положения в области организационных вопросов, испытывал колебания, иногда давал даже перевес меньшевикам, и хотя он поправился под конец, все же не сумел не только разоблачить оппортунизм меньшевиков в организационных вопросах и изолировать их в партии, но даже поставить перед партией подобную задачу» (43).

Впрочем, наибольшая экспрессивность проявляется тогда, когда нарратор прерывает повествование обширными лирическими монологами, в которых легко прочтываются застарелые сталинские травмы. Настоящий «мастер» политического маневра, Сталин не раз отступал, лавировал, терпел вынужденные союзы и т. д. Вся эта политическая травматика вылилась в лирических отступлениях «Краткого курса». Но чаще всего сталинская лирика представляет собой обычную риторику, наполненную знакомыми тропами, «непримиримыми оппозициями», спорами о словах, софизмами, разговорными конструкциями, риторическими вопросами, страстными инвективами, когда речь заходит о том, что действительно задевало травмированную душу вождя. Эти «внутренние монологи», приобретающие иногда даже форму неких диалогов (с самим собой), несомненно, принадлежали самому Сталину. Тем же образом он говорил и в своих публичных выступлениях, где «диалоги» с залом превращались в один огромный риторический вопрос, как, например, на всесоюзном совещании стахановцев в Кремле, в ноябре 1935 года: «Разве не ясно, что стахановцы являются новаторами в нашей промышленности, что стахановское движение представляет будущность нашей индустрии, что оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического подъема рабочего класса, что оно открывает нам тот путь, на котором только и можно добиться тех высших показателей производительности труда, которые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим?» (324).

Перед нами — типичный катехизисный дискурс, являющийся «переводом реальности на профанирующий язык вопросов-ответов. Катехизисное мышление искажает действительность посредством имитации диалога. Хозяином ответов является сам инициатор речевых актов, а не реальный партнер по диалогу»²³. Отсюда — запрограммированность результата «диалога». Ответы же заполняют пустоты тревоги, ожидания, сомнения. Отсюда — и знакомые семинаристские тропы («Большевики... вели непримиримую борьбу с оппортунистами, очищали пролетарскую партию от скверны оппортунизма» (137)), расширяющиеся иногда до широких («обобщающих») конструкций.

Обрушиваемый на голову читателя логический каскад, погребаящая всякую

надежду на возможный выход из плена языка лавина софизмов имеют ясную цель: поставить читателя в тупик. Эта безнадежная логика, своего рода магия «Краткого курса» потрясает своей агрессивностью. В читателе как в объекте агрессии превентивно усматривается (в лучшем случае) преступник, ищущий лазейки из плена «объективных закономерностей исторического процесса», (в худшем случае) бунтарь, психика которого может быть подавлена только сильным психотропным воздействием.

Процесс «объективации» логики и лежит в основе сталинского исторического мышления, превращающего фантазии и волю вождя в «объективные причины» и «исторические закономерности». Несомненно, что подобная трансформация реальности требует немалого художественного усилия. Одновременно, в этой слитности воли и «логики», фантазии и «исторического закона» («самого хода истории») и содержится истинная тайна этой книги-гимна целостности мира: «закономерность» превращает историю из хаоса в космос. Однако язык превращает этот космос в золотую клетку: из этой «целостности», из этой «гармонии» нельзя выйти. Сами синтаксические конструкции — это звенья цепи, намертво закрепляющие читателя в царстве гармонии. Поэтому эта книга стала скрижалями советской культуры, «воротами» в царство социализма. Ясно также, что преступниками являются те, кто хочет остановить «прогресс истории», хочет разрушить целостность, гармонию. Их действия не могут не быть противоестественными, преступными. Их действия не могут разворачиваться иначе, как в условиях заговора. Но заговор — это опять таки — «логика», сюжет, нарратив, детектив. Агентурное видение реальности превращает логику в историческое событие.

Следует также иметь в виду, что самый тип сталинского дискурса невозможен вне образа Другого как врага: «Самая консервативная форма утопии, представление о том, что идея воплощена и выражена в реальности, — писал Маннгейм, — может быть, в конечном счете, понятной только в свете ее борьбы с другими сосуществующими формами утопии»²⁴. Заговор был, конечно, сталинской травматикой, но следует видеть этот феномен и в более широкой перспективе: пришедшие к власти большевики были (буквально) вчерашними подпольщиками, конспираторами, нелегалами, заговорщиками, всю жизнь имевшими дело с репрессивной машиной государства. У советской власти заговор в крови. Агентурное мышление, принявшее в «Кратком курсе» (или в историко-революционных фильмах и книгах, героизирующих революционеров-подпольщиков) параноидальные формы, имеет одну цель — легитимацию (заговорщик, подпольщик отличается от остальных людей своей нелегитимностью). Достижение этой цели в высшей степени травматично: речь идет о том, что нелегальное меньшинство должно обосновать легитимность своей власти над легальным большинством, легитимировать прежде нелегальное. С этой же «исторической памятью» связано и болезненное пристрастие к репрессивным решениям проблемы легитимности: лучше всего, как уже говорилось, большевики были знакомы с репрессивной стороной государства.

Сталин, сконцентрировав в себе всю власть, принял на себя и всю травматическую эту власть. Поэтому, когда мы говорим, что партия презентуется в «Кратком курсе» как человек, то имеем в виду вполне конкретного человека, говорящего о себе как о «партии». Особенно личностным становится этот разговор о партии, когда речь заходит о самой власти (т. е. о Сталине лично): «Так как успехи социализма в нашей стране означали победу политики партии и окончательный провал политики этих господ, то они, вместо того, чтобы признать очевидные факты и включиться в общее дело, стали мстить партии и народу за свои неудачи, за свой провал, стали пакостить и вредить делу рабочих и колхозников, взрывать шахты, поджигать заводы, вредить в колхозах и совхозах... А чтобы уберечь при этом свою жалкую группу от разоблачения и разгрома, они накинули на себя маску преданных партии людей, стали все больше и больше лебезить перед партией, славосло-

вить партию, пресмыкаться перед нею, продолжая на деле свою скрытую от глаз подрывную деятельность против рабочих и крестьян.

На XVII съезде выступили Бухарин, Рыков и Томский с покаянными речами, восхваляя партию, превознося до небес ее достижения. Но съезд почувствовал, что их речи носят печать неискренности и двурушничества... На XVII съезде выступили также троцкисты — Зиновьев и Каменев, бичуя себя сверх меры за свои ошибки и славословя партию — тоже сверх меры — за ее достижения. Но съезд не мог не видеть, что как тошнотворное самобичевание, так и слащаво-приторное восхваление партии представляют обратную сторону нечистой и беспокойной совести этих господ. Партия, однако, еще не знала, что, выступая на съезде со слащавыми речами, эти господа одновременно подготавливали злодейское убийство С. М. Кирова» (310). Мстить, пакостить, вредить, лебезить, пресмыкаться, «съезд почувствовал», «съезд не мог не видеть»... О чем (точнее: о ком) идет речь?

«Исключенные из партии антиленинцы, спустя некоторое время после XV съезда партии, стали подавать заявления о разрыве с троцкизмом с просьбой вернуть их в партию. Конечно, партия еще не могла знать тогда, что Троцкий, Раковский, Радек, Крестинский, Сокольников и другие давно уже являются врагами народа, шпионами, завербованными иностранной разведкой, что Каменев, Зиновьев, Пятаков и другие уже налаживают связи с врагами СССР в капиталистических странах для “сотрудничества” с ними против Советского народа. Но она была достаточно научена опытом, что от этих людей... можно ждать всяческих пакостей. Поэтому партия отнеслась к заявлениям исключенных недоверчиво...

Партия, жалея их и не желая отказать им в возможности стать снова людьми партии и рабочего класса, восстановила их в рядах членов партии.

С течением времени обнаружилось, однако, что заявления “активных деятелей” троцкистско-зиновьевского блока, за немногими исключениями, — были насквозь лживыми, двурушническими заявлениями.

Оказалось, что эти господа, еще до подачи своих заявлений, перестали быть политическим течением, готовым отстаивать перед народом свои взгляды, и превратились в безыдейную карьеристскую клику, готовую растоптать остатки своих взглядов на глазах у всех, готовую принять любую окраску, — как хамелеоны, — лишь бы сохранить себя в партии, в рабочем классе, чтобы иметь возможность пакостить и рабочему классу и его партии.

Троцкистско-зиновьевские “активные деятели” оказались политическими мошенниками, политическими двурушниками» (276—277). «Партия не могла знать», «партия была научена горьким опытом», «партия отнеслась недоверчиво», «партия жалела»...

Эта вполне сюрреалистическая картина неожиданно прерывается страстным сталинским монологом, ни о чем не рассказывающим, но все объясняющим: «Политические двурушники обычно начинают с обмана и проводят свое черное дело путем обмана народа, рабочего класса, партии рабочего класса. Но политических двурушников нельзя считать только обманщиками. Политические двурушники представляют безыдейную клику политических карьеристов, давно уже лишённую доверия народа и старающуюся вновь влезть в доверие путем обмана, путем хамелеонства, путем мошенничества, — какими угодно путями, — лишь бы сохранить за собой звание политических деятелей. Политические двурушники представляют беспринципную клику политических карьеристов, готовых опереться на кого угодно, хотя бы на уголовные элементы, хотя бы на подонки общества, хотя бы на заклятых врагов народа, — для того, чтобы в “подходящий момент” вылезть вновь на политическую сцену и усесться на шею у народа в качестве его “правителей”. Такими именно политическими двурушниками оказались троцкистско-зиновьевские “активные деятели”» (278).

Страстная эта речь выдает, конечно, интенции самого Сталина, моделировав-

шего образы своих «врагов» по себе, а потому никакие «идейные соображения» в расчет им не брались. Слова о «безыдейной клике политических карьеристов», заговоры, макиавеллистские ухищрения — все, что выплескивается из «сырого подвала» сталинского подсознания на головы убитых им врагов, является единственной реальностью сталинских текстов.

Агентурное мышление не в состоянии осознать историю вне категорий заговора. Собственно, и сама история важна как продукт (и урок!) борьбы с подпольем. В этом контексте ясно, что такие слова, как «оппозиция», теряют всякую содержательность. Доказано это не Сталиным, а показательными процессами 1936—1938 годов — своего рода «судом истории». Ведь и сама концепция заговора — попытка вернуть события в лоно «исторических закономерностей». Просто (вне заговора) борьба разных лиц и направлений за власть не имеет логики, не имеет общего знаменателя. Заговор — вот единое основание для объяснения явлений. В свете заговора все проясняется. Картина резко спрямляется. Мы вновь оказываемся в выстроенной истории.

Заговор рождает новое семантическое поле, в котором движется повествование между двумя полюсами — брани и сарказма. Автору чужда ирония. Достойной оппозицией героике является сарказм: «Зиновьев и Каменев высунулись было одно время с заявлением, что победа социализма в СССР невозможна ввиду его технико-экономической отсталости, но потом оказались вынужденными спрятаться в кустах... Зиновьев и Каменев, припертые к стенке, предпочли голосовать за эту резолюцию. Но партия знала, что они только отложили свою борьбу с ней» (263).

Мы вновь вернулись к образу «партии»-человека — прозрачному эвфемизму Сталина-нарратора. Каким предстает он перед нами на страницах «Краткого курса», посвященных действиям заговорщиков? Исполином, обладающим невиданной силой; хозяином великой державы, у которого все состоит на службе и который может распоряжаться жизнью своих подчиненных по собственному усмотрению, стоит только ему «шевелнуть пальцем»... Не столько в «самовосхваляющих» пассажах (как принято считать) предстает перед нами вождь в своем величии, сколько в своем гневе. Приведем лишь одно «лирическое отступление», следующее за рассказом о суде над Бухариным: «Эти белогвардейские пигмеи, силу которых можно было бы приравнять всего лишь силе ничтожной козявки, видимо, считали себя — для потехи — хозяевами страны и воображали, что они в самом деле могут раздавать и продавать на сторону Украину, Белоруссию, Приморье.

Эти белогвардейские козявки забыли, что хозяином Советской страны является Советский народ, а господа рыковы, бухарины, зиновьевы, каменевы являются все лишь — временно состоящими на службе у государства, которое в любую минуту может выкинуть их из своих канцелярий, как ненужный хлам.

Эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит Советскому народу шевелнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа.

Советский суд приговорил бухаринско-троцкистских извергов к расстрелу.

НКВД привел приговор в исполнение.

Советский народ одобрил разгром бухаринско-троцкистской банды и перешел к очередным делам.

Очередные же дела состояли в том, чтобы подготовиться к выборам в Верховный Совет СССР и провести их организованно» (332).

Здесь обращает на себя внимание телеграфный стиль, в котором вождь-победитель (он же «партия»; он же — «государство»; он же — «народ») повествует о происшедшем, и ссылка на «очередные дела» (подобные ссылки появляются в тексте неоднократно, когда речь заходит об оппозиционерах; например, о выходе Каменева, Зиновьева и Рыкова из состава Совнаркома в ноябре 1917 г. сообщается так: «ЦК партии с презрением заклеил их, как дезертиров революции и пособников буржуазии и перешел к очередным делам» (202)).

«Очередные дела» состоят, как правило, из каких-то несущественных вещей (вроде выборов в Верховный Совет). Читатель должен понимать дело так, что оппозиция только отвлекает от «дел». Но если о «делах» говорится в «Кратком курсе» без всякой экспрессивности, о врагах, напротив, — заинтересованно, с огромной страстью (несомненно, что «враги», претендовавшие на власть, занимали Сталина куда больше, чем «очередные дела»). Этот личностный компонент «Краткого курса» заставляет подозревать в повествователе не только рассказчика, но и лирика. Именно в этой «военной лирике» Сталина (страницы «Краткого курса», посвященные врагам) перед нами предстают образы сталинского мышления, которые нельзя обнаружить нигде больше: это самые откровенные (со-кров(ь)-енные) страницы сталинского наследия.

Например, как представлял себе вождь «советского человека»? Ответ следует искать не в величественных речах о «народе-исполине», а здесь: «Нередко раскулаченные перебирались в другой район, где их не знали, и там пролезали в колхоз, чтобы вредить и пакостить... Теперь, когда открытая борьба против колхозов потерпела неудачу, они изменили свою тактику. Они уже не стреляли из обрезов, а прикидывались тихонькими, смирными, ручными, вполне советскими людьми. Проникая в колхозы, они тихой сапой наносили вред колхозам..., старались разложить колхозы изнутри, развалить колхозную трудовую дисциплину, запутать учет урожая, учет труда. Кулаки поставили ставку (sic!) на истребление конского поголовья в колхозах и сумели погубить много лошадей. Кулаки сознательно заражали лошадей сапом, чесоткой и другими болезнями, оставляли их без всякого ухода и т. д. Кулаки портили тракторы и машины» (302). В этих угрюмых фантазиях прорывается нечто большее, чем образ вредителя: они притворяются «тихонькими, смирными, ручными, вполне советскими людьми». Перед нами — сталинский образ «советского человека» — «тихонького», «смирного», «ручного». Но если кулак (он же — вредитель) совершенно неотличим от «вполне советского человека», то виновность становится тотальной, враг скрывается в каждом; заговор, тайна, умысел «народа» против «Народа» рассеян в самом воздухе. В конце концов, если кулак виновен в том, что «прикидывается» «вполне советским человеком», то сам «вполне советский человек» виновен в том, что похож на кулака. Настоящим *всегда* «очередным делом» власти является борьба с заговором против себя самой.

Пространство «Краткого курса» — это пограничье (между историей и литературой), но поскольку все главные события — стилевые, жанровые, нарративные трансформации — всегда происходят именно на границах, столь велик сегодня интерес к текстам «другой литературы». Несомненно, что Большой стиль соцреализма возник во многом под влиянием сталинского нарратива.

Вождь и сам поднимается иногда до настоящего соцреалистического письма. События тогда предстают перед читателем в таком виде, в каком мы найдем их в историко-революционном романе. Например: «Из зажженной Лениным “Искры” разгорелось впоследствии пламя великого революционного пожара, которое сожгло дотла дворянско-помещичью царскую монархию и буржуазную власть» (25). Или (о «кровавом воскресеньи»): «Николай встретил их недружелюбно (sic!). Он приказал стрелять в безоружных рабочих. Больше тысячи рабочих было в тот день убито царскими войсками, более 2 тысяч ранено. Улицы Петербурга были залиты кровью.

Большевики шли вместе с рабочими. Многие из них были убиты или арестованы. Большевики тут же, на залитых рабочей кровью улицах, объясняли рабочим, кто виновник этого ужасного злодеяния и как нужно с ним бороться» (55). Патетика сменяется развязной разговорностью: «Революция вскрыла, что царизм... является тем горбатым, которого может исправить только могила» (89—90). И все же, эти «красивости стиля» важны прежде всего в контексте сталинского художественного мышления. Сталинская же метафорика всегда имела стилевую границу,

за которой начинался излюбленный сталинский бюрократический стиль. Встреча различных потоков дает разностильность иногда в одном речевом периоде: «Красная Пресня была главной крепостью восстания, ее центром. Здесь сосредоточились лучшие боевые дружины, которыми руководили большевики. Но Красная Пресня была подавлена огнем и мечом, залита кровью, пылала в зареве пожаров, зажженных артиллерией. Московское восстание было подавлено. Восстание имело место не только в Москве» (79). Последнее предложение резко контрастирует с предыдущей экспрессивностью стиля. Шел ли повествователь на это сознательно? Ведь риск был большим: описания часто приобретают неожиданно комический оттенок (вроде «большевиков, тут же, на залитых рабочей кровью улицах, объяснявших рабочим, кто виновник этого ужасного злодеяния»; или царя, встретившего рабочих «недружелюбно — огнем»).

Можно утверждать, что перед нами — образец не только соцреалистического письма, но и *уровня* этого письма. Когда Сталин собственноручно вписывал в собственную биографию вместо фразы «Сталин — это Ленин сегодня» вариант: «Сталин — достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии: Сталин — это Ленин сегодня», он действовал, как писатель по преимуществу, заменив простой лозунг некоей «ситуацией» его произнесения. «Ситуация» стала «реалистичной»: можно представить себе, как члены партии говорят друг другу: «Сталин — это Ленин сегодня». Иронизируя на сей счет на XX съезде («Видите, как хорошо сказано, но не народом, а самим Сталиным»), Хрущев не увидел «реализма».

А между тем, подобных «ситуаций» в «Кратком курсе» немало: «Когда Гучков закончил свою речь возгласом “Да здравствует император Михаил”, то рабочие потребовали немедленного ареста и обыска Гучкова, говоря возмущенно: “Хрен редьки не слаще”» (174). Так и говорили друг другу рабочие («возмущенно!») — о «хрене» и «редьке»... «Верить» подобным реалистическим картинам стоит так же, как и в описываемому в соцреалистическом тексте: «Рабочие и солдаты стали массами покидать меньшевиков и эсеров, презрительно называя их “социал-тюремщиками”. Рабочие и солдаты, члены партий меньшевиков и эсеров, рвали свои членские билеты и с проклятием уходили из их партий, прося большевиков принять их в свою партию» (188). Так и говорили друг другу рабочие («презрительно!»): «социал-тюремщики» — и просились в партию большевиков (рабочие вообще не могут жить вне какой-либо партии)...

Особенность сталинского «реализма» состоит в том, что в нем тщательно скрыты именно реальные мотивы социальных явлений. Когда дело доходит до «конкретики» (кроме «хрена и редьки»), возникает та магия «Краткого курса», которая была вполне воспринята и усвоена советской литературой: люди здесь производят некие действия, уяснить конкретику которых невозможно. Например, сообщается, что во время Февральской революции «восставшие рабочие и солдаты стали арестовывать царских министров и генералов... Когда весть о победе революции в Петрограде распространилась в других городах и на фронте, рабочие и солдаты всюду стали свергать царских чиновников» (169). Как рабочие могли арестовывать министров, представить нелегко, хотя действия вполне конкретны, но как всюду начали «свергать» царских чиновников, представить себе решительно невозможно: «свергать» — это глагол-замена для описания неких конкретных действий, которые не названы — по одной мыслимой причине: их попросту нельзя произвести.

Нечто подобное происходит и при описании самого хода Февральской революции: «Корниловское восстание показало широким массам крестьянства, что помещики и генералы, разгромив большевиков и Советы, насыдут потом на крестьянство. Поэтому широкие массы крестьянской бедноты стали все теснее спланиваться вокруг большевиков. Что касается середняков.., то они, после разгрома Корни-

лова, стали определенно поворачивать в сторону большевистской партии» (193). Не касаясь сейчас вопроса о том, каким образом корниловский мятеж, этот кратковременный несостоявшийся дворцовый переворот, мог отразиться на «настроениях крестьянства», обратим внимание на «заменные» конструкции: что именно значит «теснее сплываться» и «определенно поворачивать»? «Определенно», это может означать лишь то, что действия здесь описываются по знакомому принципу: «должны были появиться» — «и действительно появились». При этом решительно неважно: «появились» или нет — раз «должны были», значит были «действительно».

Образ исторического долженствования — мощнейший импульс к историческому фантазированию. Собственно, вся историческая концепция Сталина оказывается настоящим доменом образов реальности «в ее революционном развитии». Поэтому, читая в советском колхозном романе о «зажиточной жизни колхозников», следует помнить, что исток этих картин — не в склонности советских писателей ко лжи, но в метатексте всей соцреалистической литературы: «Колхозы стали зажиточными. Постройка новых амбаров и кладовых стала главной заботой колхозного двора, так как старые местохранилища продуктов, рассчитанные на незначительные годовые запасы, не удовлетворяли и десятой доли новых потребностей колхозников» (325). Вот этот гиперболизм («и десятой доли!») и был продуктом «ready-made History».

Вышедший в 1938 году «Краткий курс» стал эпилогом «большого террора». Сталин писал свою книгу одновременно с расстрельными списками, в которых оказались все возможные свидетели его истории. Эта одновременность дает право предположить, что сама эта книга была своего рода обоснованием большого террора: для того, чтобы «Краткий курс» вышел, все его персонажи должны были умереть, стать смолкнувшей историей. Другими словами, стать «материалом» для этой книги, стать жертвами для нее. В этом смысле «Краткий курс» является, может быть, самой кровавой в мировой истории книгой. Она сама была целью террора.

Будучи итогом сталинской революции, «Краткий курс» заменил собой все, что было до него. Он не просто — слова об истории, но — самая история. Как будто прошлое сгорело. Все. Дотла. Этот эффект исторического «пожара», унесшего с собой прошлое, превратившего его в пепел, сам создает иллюзию истории: «Пожар, уносящий нечто устоявшееся, создает иллюзию прикосновения к ходу истории; созидание отождествляется с разрушением. На самом деле уничтоженная культурно-историческая, культурно-пространственная среда оставляет в сознании идеальный суррогат движения, который и принимается за историю, и тогда мир конечных вещей превращается в сырьевой придаток, пассивный материал псевдоисторической перспективы... Оказавшись на пепелище, человек обречен на повторный поиск языка, состоящего из причудливой смеси по случайности застрявших в сознании культурно-исторических воспоминаний и уродливых новообразований»²⁵.

Вот почему перед нами здесь одновременно — и механизм *написания* новой истории, и механизм *стирания* памяти. Эти два процесса не противоположны. Они едины, как цель и средство, как причина и результат. Превращение прошлого в историю структурирует коллективную «память» (если не создает ее), эстетически оформляет «реальность», которая в текучести своей не имеет цены. Но лишь став частью истории, приобретая в ней «место», «логическое» обоснование и, наконец, нарративно «оформившись», превращается в... заверченный, самооценный художественный образ.

То обстоятельство, что версия 1938 года стала «единственной и окончательной версией», Гловинский объясняет следующим образом: «Сохранение в неприкосновенности первой версии подчеркивает мифологический характер текста. В миф можно вводить новые эпизоды, но к мифу, как правило, не добавляют продолже-

ния главной фабулы повествования. Такие добавления разрушили бы нарративную структуру произведения, задуманную таким образом, что время написания совпадает с финальным временем, которое наделяет смыслом все предшествующие события»²⁶. Но — странное дело — биография Сталина (тоже миф) имела продолжение. И не только продолжение: в 1947 году вышло «издание второе, исправленное и дополненное». Как бы то ни было, дело не в «мифе» и уж тем более не в «фабуле повествования».

Просто «Краткий курс» в отличие от сталинской (авто)биографии был задуман как исторический памятник. Прежде всего как памятник (своеобразное надгробье жертвам террора?). Миф можно дописывать (стоит напомнить, что советская историческая мифология дописывалась и после 1938 года, и после Сталина, и после Хрущева, и после Брежнева). Памятник дописывать нельзя. Он самодостаточен. Так самодостаточно литературное произведение, которое не может быть дописано *вне зависимости* от того, что потом «произошло» в реальности, поскольку к «реальности» оно имеет весьма опосредованное отношение. Здесь — «художественная реальность». Автор сам побеспокоился о том, чтобы было ясно, что текст этот действительно целостно-завершен и замкнут. После шестикратного повторения в финальном апофеозе конструкции «История партии учит, что...» происходит удивительное в книге (и тем более в истории) замыкание рамы. После окончания повествования стоит посередине последней строки слово:

Конец.

Это и есть последняя точка памятника (подобно «Аминь»). С этого «конца» по праву можно было бы начать эту «историю» сначала, если бы это эпическое повествование, как будто победившее в своей тотальной завершенности самое время, не оказалось овнешненным, проинтегрированным в Историю. Остались: стиль, повествовательная техника, стратегия (оптика) нарратора и образ автора — власти.

Так остается литература.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В. Подорога. «Голос власти» и «письмо власти» // Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989. С. 109.

2 Л. Троцкий. Иосиф Сталин: Опыт характеристики // Л. Троцкий. К истории русской революции. М.: Политиздат, 1990. С. 398.

3 Там же. С. 402.

4 Михал Гловинский. «Не пускать прошлого на самотек»: «Краткий курс ВКП(б)» как мифическое сказание // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 144.

5 Roland Barthes. Introduction in the Structural Analysis of Narratives // Roland Barthes. Image, Music, Text. New York, 1977. P. 124.

6 Hayden White. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore, 1987. P. 13—14.

7 Там же. С. 21.

8 Там же. С. 43. См.: Hayden White. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore, 1973.

9 Ленин Владимир Ильич. Краткий очерк жизни и деятельности. М.: ОГИЗ, 1946. С. 7. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в скобках.

10 К. Симонов. Солдатами не рождаются. М., 1964. С. 681.

11 Н. С. Хрущев. Доклад на закрытом заседании XX съезда КПСС. М., 1959. С. 49—

50. Приведенные Хрущевым цитаты даны по изданию: Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. М., 1947. С. 105. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в скобках.

12 См.: *Н. А. Васецкий*. Л. Д. Троцкий. Политический портрет // Л. Троцкий. К истории русской революции. С. 34.

13 *Hayden White*. *Metahistory*. P. 30—31.

14 См.: *Mikhail N. Epshtein*. *After the Future: The Paradoxes of Postmodernism & Contemporary Russian Culture*. Amherst, 1995. P. 101—163.

15 *Михал Гловинский*. Указ. соч. С. 151.

16 *О. В. Белый*. Тайны «подпольного» человека. (Художественное слово — Обыденное сознание — Семиотика власти). Киев, 1991. С. 74.

17 Тоталитаризм как исторический феномен. М, 1989. С. 18—19.

18 *Михал Гловинский*. Указ. соч. С. 157.

19 *Karl Mannheim*. *Ideology and Utopia*. New York, 1954. P. 206.

20 Там же. С. 210.

21 История ВКП(б). Краткий курс. М.: Политиздат, 1940. С. 202—204. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в скобках.

22 *Михал Гловинский*. Указ. соч. С. 147—148.

23 *О. В. Белый*. Указ. соч. С. 90.

24 *Karl Mannheim*. *Op. cit.* P. 211.

25 *О. В. Белый*. Указ. соч. С. 101—102.

26 *Михал Гловинский*. Указ. соч. С. 158.

ПИСАТЕЛЬ СТАЛИН: ЗАМЕТКИ ФИЛОЛОГА

Михаил Вайскопф

Однажды он сам назвал себя писателем. И все же в качестве заглавия это определение многим покажется странным. О каком «писателе» может идти речь, если русский язык был для Джугашвили чужим, а его публицистика не блистала никакими литературными талантами? Ведь сталинский стиль выглядит примитивным даже на фоне общеполитического волапюка. В ответ на эти априорные возражения, с которыми я уже не раз сталкивался, мне остается напомнить, что именно стиль, язык явился непосредственным инструментом его восхождения к власти, а следовательно, обладал колоссальным эффектом, причина которого заслуживает изучения. По семантической насыщенности этот минималистский жаргон приближается к поэтическим текстам, хотя сфера его действия убийственно прозаична.

Ближайшая задача публикуемой работы — произвести вводный разбор словаря и основных риторических приемов Сталина. По профессии я литературовед, а не историк сталинской эпохи, и занимают меня не столько биографические или политические реалии, изученные такими знатоками предмета, как А. Улам, Р. Такер, Дм. Волкогонов и др., сколько внутренняя организация сталинского текста. По возможности, я стремился идти от готовых теорий или предубеждений назад — к фактам, к текстовой эмпирике, к непосредственному генезису и контексту. В этом смысле предлагаемый разбор всецело примыкает к традиции, означенной Андреем Белым в его книге о Гоголе: «Не бесцельны... скромные работы собирателей сырья: в качестве... введения к элементам поэтической грамматики... работа моя... не бесполезна... Все же, что не имеет прямого отношения к... «словарю», я предлагаю рассматривать как субъективные домыслы, как окрыляющие процесс работы рабочие гипотезы, легко от нее отделимые и не могущие никого смутить».

Мать, которая родила

В литературе всегда указывается на гипнотическую тавтологичность сталинского стиля. Прием этот давался ему легко уже вследствие ограниченности его словарного фонда, но со временем получил целенаправленное развитие.

Порой Сталин пытается замаскировать тавтологии за счет простого удлинения фразы, но делает это не слишком удачно. Так, Антей «питал особую признательность к матери своей, которая его родила, вскормила и воспитала». В ряде случаев посылки и вытекающие из них выводы у него совершенно тождественны, классификация их абсурдна. Ср.:

«Она [женщина] может загубить общее дело, если она забита и темна, конечно, не по своей злой воле, а по темноте своей».

«Товарищи! Мы, коммунисты, — люди особого склада <...> Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии. Сыны рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны героических лишений и героических усилий — вот кто, прежде всего, должны быть членами такой партии. Вот почему партия ленинцев, партия коммунист-